

502  
1941.

34749  
/

1926

НАРОДНО-ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

285  
38

Ив. БУНИН

# ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

Издание третье



Т-во „КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ  
В МОСКВЕ“

## СОН ОБЛОМОВА-ВНУКА

Иле девять лет. На нем гимназический картуз, шелковая коричневая косоворотка, козловые сапожки с сафьяновым ободком на голенищах. Он сидит сзади отца на беговых дрожках, дрожки шибко катятся большой дорогой, а вокруг — поле, летнее жаркое утро...

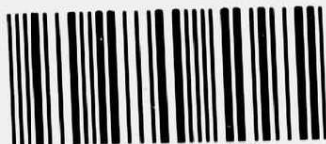
Старую донскую кобылу подали к крыльцу чуть не на рассвете. Но Боже, сколько раз заглядывал Иля в кабинет отца, в тщетной надежде, что разговор со старостой кончен! Уже и росистая трава в тени от амбаров успела высохнуть, и запахло в саду белоснежной, оцепеневшей на солнечном припеке черемухой... Даже кобыла, и та стала задремывать от скуки: осела на левую заднюю ногу, прижала одно ухо, прикрыла глаза...

Но всему бывает конец, кончилась и попытка ожидания. Держится Иля за кожаную подушку сиденья, задрав ноги на заднюю ось и почти касаясь лбом витых стволов на спине отца, поглядывает, как трепещут сверкающие на солнце спицы, как бежит по пыли возле них белая с подпалинами Джальма, близко видит загорелую шею и широкий затылок под белым картузом... Солнце стоит высоко и сильно припекает, кожа на дрожках стала горячая, — приятно пахнет нагретой кожей и колесной мазью... Душная густая пыль облаком встает из-под колес, парусиновый пиджак на плечах отца темнеет... Но вот и проселок — полевой рубеж, длинным, узким коридором теряющийся меж стенами высокой серо-зеленой ржи. Отец сдерживает лошадь и закуривает, пуская через плечо клуб душистого дыма...

Ах, эти проселки! Весело ехать по глубоким колеям, заросшим муравой, повиликой, какими-то белыми и жел-



61863-44



2007057420

Типографско-полиграфическое издательство Писателей в Москве  
Моховая, у Троицких ворот, д. кн. Гагарина.

1919 г.

тыми цветами на длинных стеблях. Ничего не видно ни впереди, ни по сторонам, — только бесконечный, суживающийся вдаль коридор меж стенами колосистой гущи, да небо, а высоко на небе — жаркое лучистое солнце. Синие васильки, лиловая куколь и желтая сурепка цветут во ржи. Дрожки задевают колосья, растущие кое-где по дороге, и они однообразно клонятся под колеса и выходят из-под них черными, испачканными колесной мазью. Мелкие кузнечики сухим дождем непрерывно сыплются из подорожника... Неожиданно потянуло откуда-то легким ветерком, солнечной теплотой... Отец подбирает вожжи... И опять заиграли спицы, закружились перед глазами пестрые венки навертевшихся на втулки цветов, запрыгали дрожки по выбоинам... Тут надо держаться покрепче, но, ухватившись за сиденье обоими руками, все-таки пристально следишь за тем, как на встречу, лоснясь, бегут серо-зеленые волны, как тень от облачка то там, то здесь на мгновение затушевывает их, как полоумная Джальма носится, хлопая ушами, за перепелами и жаворонками: иногда совершенно пропадает во ржи, — только по волнистой линии, струящейся за нею, видно, где она, — а иногда высоко выпрыгивает из колосьев, удивленно озираясь по сторонам...

Порою встречалась телега, а в ней — баба с белогловым мальчиком на коленях, которая неумело держит веревочные вожжи, неумело сворачивает, заезжая в рожь, при чем бокастая лошаденка с жадностью хватает губами колосья... Встретился однажды мужик: он без шапки сидел на грядке телеги, возле длинного узкого гробика из золотистого теса, и веселое лучистое солнце жарко пекло его лохматую голову... Встречался урядник верхом на худой длинношеей кляче, или бородастый, могучий о. Алексей в широкополой шляпе, высоко восседавший на своей тележке, за которой бежал жеребенок мышиного цвета на длинных, тонких ножках... Все это портило дело: ведь так хотелось чувствовать себя в совершенно безлюдном краю! Но бывало и хуже: иногда вдаль показывался тарантас, в тарантасе — загорелый помещик в крылатке, в

дворянском картузе, с изумленно выкаченными белками. Увидав соседа, он изумлялся еще более, радостно таращил глаза и разводил руками, а кучер в плисовой безрукавке и круглой детской шапочке с павлиньими перьями останавливал тройку. Останавливал лошадь и отец, слезал с дрожек навстречу вылезавшему из тарантаса толстяку — и начинались бесконечные разговоры. Помещик говорит страшно громко, размахивает руками и все кого-то бранит... Потом над чем-то долго, с мучительным наслаждением хохочет, сотрясаясь всем телом... Отец тоже кричит и тоже хохочет...

— Ну, до свиданья, до свиданья! — наконец говорит он, нахохотавшись.

— До свиданья, батюшка, — очень рад был встретиться!

— Мой поклон вашему семейству!

— И вашим также передайте мой сердечный привет!

— Восемнадцатого будете?

— Обязательно, обязательно!

Помещик становится на подножку тарантаса, накренивая его, с трудом усаживается... Но не проходит и минуты, как сзади опять раздается крик:

— Сосед! На минуточку!

И опять стоянка, опять разговоры...

Утомленная, но счастливая своими хлопотами Джальма сидит у колес и жарко дышит, изредка, с коротким стуком, ловя зубами мух. В небе блестят и кудрявятся белые облака, всюду столько света и радости, как бывает лишь в июне, и все неподвижнее становится воздух к полудню. Два желтых мотылька, как два лепестка розы, беззвучно и однообразно играют над склонившимися в оцепенении колосьями, над цветами и травами, нагретыми зноем. Сладко пахнет васильками... И щурясь от солнца, Иля, как в забытии, следит за облаком, похожим на пуделя, которое, медленно тая, плывет по светозарной сини неба, прислушивается, как в траве сипят кузнечики, а над головою на тысячу ладов сонно звенит жалобными дискантами воздушная музыка насекомых, неумолчно



воспевающих дали, млеющие в мареве зноя, радость и свет солнца, беспричинную, божественную радость жизни...

— Уснул?— раздается вдруг бодрый голос.

Наговорившись, отец гонит лошадь шибко, и дрожки точно сами собою бегут по наклонной дороге, к какому-то широкому и неглубокому логу среди степных косогоров. За этим логом следует длинный под'ем на покатую гору, залитую зелеными овсами, а с горы открывается вид на новый, еще более широкий и разлзтый лог. Тут были заливные болотистые лужки и мелкая степная речка, извивающаяся по ним, делала много широких затонов, густо заросших зелеными щетками куги. Оттого, что горизонт был со всех сторон замкнут этими похожими на ржаные хлеба косогорами, глухо тут было на редкость, но какая милая, своеобразная жизнь— жизнь куличков, бекасов и диких чирков— чувствовалась в тишине и глуши этих мелких затонов.

— Держись!— кричит отец сквозь дребезжание бегущих под гору дрожек.

И вдруг дребезжание сразу обрывается.

Под горою ветерок спадает. Солнце печет, колеса шуршат в густой насыщенной водой траве. Пресно пахнет теплым илом, разогретой кугою; белая, как снег, рыбалка неожиданно вырывается из кочкарников и сверкает в воздухе острыми крыльями... А вот и болото— серебристо-зеркальные затоны с островками тонколистой осоки...

Не спуская с них глаз, отец передает Иле вожжи, осторожно слезает с дрожек и, скинув ружье, торопливо, но бесшумно направляется к ним.

— Джальма!— строго, отрывисто и негромко говорит он каким-то особым, условным тоном Джальме, которая перепрыгивает с кочки на кочку с высунутым языком. Длинные сапоги его тонут в мягких кочкарниках, серебристые пузыри остаются в его следах, отпечатывающихся в бархалистой и влажной траве... От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть...

— Джальма!

И Джальма, быстро оглянувшись, вдруг — бултых в воду и, наслаждаясь прохладой, медленно плывет по затону к камышам. Из воды видна только ее вытянутая прилизанная голова с опущенными ушами и длинный хвост, который плывет за ней как чужой, как палка. Потом и голова, и хвост заворачивают в камыши, отец входит по колена в воду и тоже скрывается в камышах. Проходит десять, двадцать минут напряженного молчания... Где-то далеко раздается тяжкий глухой выстрел... Весь встреपунувшись, пристально глядит Иля вперед, но за камышами ничего не видно. В камышах что-то осторожно попискивает и булькает; по широкой луже недалеко от дрожек, грациозно извиваясь, проплывает уж; перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки, вылетая из горячей травы, а высоко в ясном небе медленно вырастает и вытягивается большое белоснежное облако... Вот оно приняло образ сказочного исполина, а из затона, в котором, углубляя его, ярко светит отражение этого исполина, что-то глухо, угрюмо и жалобно ухнуло... Ухнуло— и выжидательно замолчало...

— Бычки!— вспоминает Иля загадочное слово, оброненное отцом, и весь замирает от сладкого ужаса.

Воображение мгновенно создает образ какого-то фантастического существа, одного из тех страшных подводных жителей, что глубоко скрываются в болотах и только изредка высовывают свои лобастые, рогатые головы с выпученными глазами на свет Божий. Что если взглянет такой бычок именно теперь, в этот безмолвный час знойного полдня? И, косясь на затон, Иля не замечает, что картуз его с'ехал на затылок, что комары облепили ему потную шею и руки и что ослепительно-жаркое солнце бьет прямо в лицо...

Вдруг раздается кашель. Иля вздрагивает и мгновенно возвращается к действительности. Отец идет по пояс мокрый, хлопает тяжелыми сапогами, налитыми болотной водой.

— Тут... бычки,— говорит Иля нерешительно.

— Ну, и что же?

— Они очень большие?



— Кто? Бычки-то? Да ведь это жучки. Водяные жучки!

— Как жучки?—бормочет Иля, пораженный и разочарованный.

Отец раскраснелся, расстегнул ворот рубахи, лицо у него доброе и оживленное. Подойдя к дрожкам, он бросает Иле убитого чирка, и, мгновенно забыв о бычках, Иля с жадностью ловит его на лету. Чирок еще теплый! Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесой пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови... Но как он славно пахнет тиной и порохом! И Джальма вылезает из осоки тоже веселая и удовлетворенная. Глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилизана, уши висят, ноги в иле—точно в черных чулках...

Мокрые, блестящие шины снова шуршат по бархатной сочной траве, изредка врезываясь в воду и разбрасывая во все стороны светлые длинные брызги. Лужи, в которых золотыми полосами то там, то здесь вспыхивает жаркий солнечный блеск, мелькают перед глазами. Из куги то и дело с жалобными стонами вырываются кулички... Потом мягкий кочкарник сразу обрывается,—дрожки снова трещат по дороге, убегаящей в гору... Но Иля едва замечает все это.

Ах, когда он вырастет, он будет самым счастливым человеком в мире! Он поселится на хуторе, будет жить только охотой, будет каждый день чистить кирпичом и промазывать свое ружье, будет варить себе кулеш, спать прямо возле порога флигеля, на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва брезжит зелено-серебристый рассвет...

Да и теперь чудесно. Дышит Иля чистым полевым ветром, слушает хохлатых жаворонков, распевающих над полями, в облаках, в бесконечном просторе... Степь вокруг, жуда ни кинь взор, зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца, — только далеко впереди машет, как утопающий руками, чья-то мельница...

Сон, сон!

## АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

### I

Осень, идут непрерывные дожди; на улице дребезжат извозчицьи экипажи и с гулом, с грохотом катятся тяжелые конки; по целым дням сижу я за работой, гляжу в окно, на мокрые вывески и серое небо, и все деревенское далеко от меня. Но по вечерам я читаю старых поэтов, родных мне по быту, по душе и даже по местности, — средней полосе России. А ящики моего письменного стола полны антоновскими яблоками, и здоровый аромат их — запах меда и осенней свежести — переносит меня в помещицью усадьбу, в тот мир, который скудел, дробился, а теперь уже гибнет, о котором через пятьдесят лет будут знать только по нашим рассказам...

Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как-будто нарочно выпадавшими для сева, — с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А „осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик“. Потом, бабьим летом, паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: „Много тенетника на бабье лето-осень ядреная“... Помню раннее, свежее и тихое утро. Помню весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах яблок. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как

осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за другим, но уж таково заведение—никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта,—делать нечего! На сливаньи все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квоктанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссынаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут—особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке—посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящички, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, мирно расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-одноворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят „барские“ в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее „рога“,—косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка—плисовая, занавеска длинная, а панева—чернолиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым „прозументом“...

— Хозяйственная бабочка!—говорит о ней мещанин, покачивая головою.—Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами все подходят. Идут по-двое, по-трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего

на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и худой чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах—весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полудиотом, который живет у него „из милости“, он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда „тронет“ на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду—костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада—сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева, силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги—два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони—и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там, на полянке, немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук?—тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь растет, переходит в шум—и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глхнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вон возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово!— скажет мещанин.— Потрачайте, потрачайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темносинюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто, и как хорошо жить на свете!

## II

„Ядреная антоновка—к веселому году“. Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат пегухи и „по-черному“ дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь—велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как-будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень—пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах воз-

вышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки Аполлона Платоновича, славились „богатством“. Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу,—первый признак богатой деревни,—и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь бывало: „Да,—вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!“—или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Да как же-с, батюшка,—явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать,—виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не об'елся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, трясая головой, задыхаясь и держа за скамейку руками,—все о чем-то думает. „О добре своем небось“, говорили бабы, потому что „добра“ у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит, подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей; трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева—чуть не прошлого столетия, чуньки—покойницкие, шея—желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая, белая—„совсем хоть в гроб клади“. А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе в селе на могилку, так же, как и саван,—отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков—



у Савелия, у Игната, у Дрона,—избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу, в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги со стальными подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя,—обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой,—так большего и желать невозможно.

Склад мелкопоместной дворянской жизни, который теперь стал сбиваться уже на мещанский, в прежние года, да еще и на моей памяти,—очень недавно,—имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны Кологривовой, жившей от Выселок верстах в двенадцати.

Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется,—так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. — Небо—легкое и такое просторное, глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в про-

зрачном воздухе и замрет на одном месте, тренеца острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики,—совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. В'едешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных постресек,— невысоких, но домовитых,—множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могики дворового сословия—какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда в'езжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил „форейтором“, а теперь возит ее к обедне,— зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, в роде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своей запущенностью, соловьями, горlinkами и яблоками, а дом—крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада,—ветви лип обнимали его,—был невелик и приземист, но, казалось, что ему и веку не будет,—так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз,—окнами с перламутровыми от дождей и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца,—два старых больших крыльца с колоннами. На фронте их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде, на тихом, круглом дворе, под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах, — в лакейской, в зале, в гостиной, — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду — тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же, под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва „дули“, яблоки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, щи, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

### III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Лет двадцать тому назад такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были еще не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу, усадьбы с огромным помещьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... нет троек, нет верховых „киргизов“, нет гончих и борзых собак, нет дворян и нет самого обладателя всего этого — помещика — охотника, в роде моего покойного шурина Арсения Семеныча Климентьева.

К тетке я ездил до самой глубокой осени, до поры, когда прекращалась охота с борзыми. Но мои поездки имели всегда главной целью усадьбу Арсения Семеныча, старое гнездо Анны Герасимовны было только перепутьем.

С конца сентября сады и гумна пустели. Погода, по обыкновению, круто изменялась и делала меня на время затворником. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Но зато становилось еще холоднее не только на дворе, но, казалось, даже и в доме с еще летними рамами и с раскрытым балконом. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и наконец превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, поломанным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном небе и покорно ждать зимы, пригреваясь после полудня в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много, — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах.



Только-что сытно пообедали, покраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, пользуясь суматохой, влезает среди гостей на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зал еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец-пыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, в бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он полусуто декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца  
И звонкий рогъ на плечи перекинуть —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в черное лесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом „киргизе“, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитным с ним воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стелканный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди

этого гама выстрел, и все „заварилось“ и покатилося куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

„А, береги!“ — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами, да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь киргиза наперерез зверю, — по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров, и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадись вспененную хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полуоткрытый строевой лес стоит неподвижно, и, кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги, в бесконечные амфилады сказочных покоев и колонн. Крепко пахнет от оврагов грибную сыростью, перегнившими листьями и мокрою древесною корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднее и темнее, становится жутко... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, крупным шагом вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дома...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с покрасневшими лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка.



В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевах, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на-сторону пушистым хвостом среди зала и окрашивает своей бледной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза—вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадкой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заносит ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то моленной старика, имя которого окружено крепостными легендами, и что он умер в этой моленной, — вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, как дрова трещат и стреляют. Впереди—целый день покоя в безмолвной уже позимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги,—дедовские книги, в толстых кожаных переплетах с сафьяном и золотыми звездочками на корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники, книги своей пожелтевшей, толстой и шершавой бумагой! Какой-то приятно-кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: „Мысль достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сер-

дечного“. И невольно увлечешься и самой книгой... Это — „Дворянин-философ“, аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то „кавалера многих орденов“ и напечатанная в „типографии приказа общественного призрения“, — рассказ о том, как „дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на просторном месте своего селения“. Потом наткнешься на „сатирические и философские сочинения господина Вольтера“ и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: „Государь мой! Эразм сочинил в шестнадцатый столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятой); вы же приказываете мне превознести пред вами разум...“ Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска.

Вот „Тайны Алексиса“, вот „Виктор или дитя в лесу“. „Бьет полночь!... — читаешь с улыбкой. — Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мрак и мечты... Мечты!.. Как часто продолжают они токмо страдания зловещного!..“ И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, „ероты“, розы и лилии, „проказы и резвости молодых шалунов“; лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы и гросс-фатер на клавикордах, ее томное чтение стихов из „Евгения Онегина“. И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою, как живая... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старин-

ных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

#### IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... И вот я уже пишу им эпитафии.

Я надолго покинул родные „палестины“, как любят говорить у нас, а когда недавно заглянул в них, невольно встретили меня они. Старые книги, старые портреты, разорванные и никому ненужные, затерялись по городам, по мещанским хуторкам, — по ястребиным гнездам новых помещиков, гнездам, на которые раздробились прежние поместья. На весь наш уезд приходится теперь три-четыре состоятельных дворянина, но и они живут в деревне уже новою жизнью, чаще всего только летом. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищеты, и чахнувших серых деревушек. Идет ноябрь, глухая пора деревенской жизни...

Скверное было утро, когда я вышел из вагона на нашем полустанке, затерянном среди полей. И поля после долгой городской жизни показались мне мучительно убогими и скучными, когда мужик под дождем потащил меня на телеге к старой нашей усадьбе... Деревушки над лощинами кажутся издали кучами навоза. В лесу, — голым, мокрым и черном, — синеватый туман, и шумит сырой ветер, а на проселочной дороге пустынно, как в киргизской степи...

Однако первым впечатлениям не следует доверять. Проходит два-три дня, погода меняется, становится свежее, и деревня начинает казаться иною. Начинаешь улавливать связь между прежней жизнью и теперешней, и, то, что вспомнилось мне при запахе антоновских яблок, — здоровье, простота и домовитость деревенской жизни,

снова проступает в новых впечатлениях. Прошло почти пятнадцать лет, многое изменилось кругом, но я опять чувствую себя дома почти так же, как пятнадцать лет тому назад: по-юношески грустно, по-юношески бодро. И мне хорошо среди этой сиротеющей и смиряющейся деревенской жизни.

Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилия. Помню, у нас в доме любили в эту пору „сумерничать“, не зажигать огня и вести в полутьмоте беседы. Войдя в дом я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнувшей зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синевя, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло илюдно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда вечером заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Хуторяне осенью чувствуют себя вообще недурно, особенно, ежели год неурожайный, и банк отсрочит уплату процентов. Хуторянин любит осень, потому что осенью есть хоть какая-нибудь охота, любит длинные вечера, долгую темную ночь в теплом и уютном кабинете. Встает он рано. Крепко потянувшись на лежанке, отчего со стуком падает на пол кирпич с ее угла („давно, давно пора вмазать этот кирпич, да все не соберешься!“), он идет к столу и, подымая брови и хмурясь, крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто

из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые заскорузные шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девченкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, барин выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыжь!—медленно, снисходительным басом говорит барин и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные озими, по которым вдаль бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая построжки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки!—строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщевую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками метлами.

— С Богом!—говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанный веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно движется и суется под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле, вспоминает охоты, молодость, свое разоренье... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок.

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться осенью не с чем; но наступает зима, начинается „работа“ с гончими. И вот опять, как в прежние времена, с'езжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара.

На сумерки буен ветер загулял,  
Широки мои ворота растворял...—

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают—с грустной, безнадежной удалью.

Широки мои ворота растворял,  
Белым снегом путь-дорогу заметал...



## Р У Д А

За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги, в хлебах, при начале уходившего к горизонту моря колосьев, стояла белоствольная и развесистая, плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами, береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой, сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий, серый голубец, — крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона Божией Матери — покровительницы полей.

Шелковисто-зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах! Впрочем, в детстве нам все казалось хорошо. Тогда и хлеба были гуще, и лето жарче, и небо синее, и зимы морознее, и деревня веселее и богаче... Когда-то давно тот, кто первый пришел на это место, поставил на своей десятине крест с кровелькой и освятил „Покрес Пресвятые Богородицы“. И с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку, — одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи:

— Пресвятая Богородица, защити нас Покровом Твоим!

Осень приходила к нам светлая и тихая, — она воцарялась в степи так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо — чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается он, пока, наконец, не оставалась вся раздетая на его золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу желтым отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народ называл их красиво и нежно — „пряжей Богородицы“.

Зато жутки были дни и ночи, когда осень сбрасывала с себя кроткую личину. Беспощадно трепал тогда ветер обнаженные ветви березы! Избы стояли нахохлившись, как куры в непогоду, туман в сумерки низко бежал по голым равнинам, волчьи глаза светились ночью на задворках. Нечистая сила часто скидывается этими глазами, и было бы страшно в такие ночи, если бы за околицей деревни не было старого голубца. А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля, и деревню, и березу по самый голубец. Бывало, выглянешь из сеней в поле, а жесткая вьюга свистит под голубцом, дымится по острым сугробам и со стоном проносится по равнине, заметая на бегу следы по ухабистой дороге. Заблудившийся путник с надеждой крестился в такую пору, увидев в дыму метели торчавший из сугробов крест, зная, что здесь бодрствует над дикой снежной пустыней сама Царица Небесная, что охраняет Она свою деревню, свое мертвое до поры до времени поле.

Поле долго было мертвым, но степные люди были прежде выносливы. И вот, наконец, крест начинал вырастать из оседающих серых снегов. Обтаивала и горбатая унавожженная дорога, наступали теплые и густые мартовские туманы. От туманов и дождей чернели и ды-

милась в сумрачные дни крыши изб, а собаки по сугробам залезали на них, так как улица превращалась в сплошную лужу. Потом туманы сразу сменялись солнечными днями. И все снежное поле насыщалось водою, растоплялось и, растопленное, ярко блестело под солнцем, дряжа бесчисленными ручьями. В один-два дня степь принимала новый вид: по-весеннему темнели равнины, окаймленные бледно-синеватой далью. Выпускали шершавый скот из хлебов; обессилевшие за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгоне, а галки садились на их худые спины и дергали клювами шерсть для своих гнезд. Но дружная весна к хорошим кормам, — скот отгуляется по теплым росам! Уже пели жаворонки в ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали от ветров и солнца, которые просушивали землю. Когда же обмывал ее весенний дождь, и пробуждал первый гром, Господь благословлял в тихие звездные ночи расти хлебам и травам, и, успокоенная за свои нивы, кротко глядела из голубца старая икона. Тонко пахло в чистом ночном воздухе зелеными, мирно было в степи, тихо в темной деревне, где уже не вздували огня с Благовещенья, и замिरала по вечерней заре песни девушек, прощавшихся со своими обрученными подругами.

А потом все менялось не по дням, а по часам. Зеленел выгон, зеленели ветлы перед избами, зеленела береза... Шли дожди, протекали жаркие июньские дни, зацветали цветы, наступали веселые сенокосы... Что иное можно сказать о степной деревушке? Люди родились, вырастали, женились, уходили в солдаты, работали, пировали праздники... Главное же место в их жизни все-таки занимала степь — ее смерть и возрождение. Пустела и покрывалась снегами степь — и деревня более полугода жила в забвении; тогда не мало умирало народа от холода, голода и черных изб, не мало замерзало в метель. Наступала весна, наступала и работа, скрашенная веселыми днями... Или они только снились нам в детстве? Помню, как мягко и беззаботно шумел летний ветер в шелковистой листве березы, путая эту листву и склоняя до самых ко-

лосьев тонкие, гибкие ветки; помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородатые мужики, как истые потомки русичей, улыбались из-под огромных березовых венков; помню грубые, но могучие песни на Духов день, когда мы с закатом уходили в ближний дубовый лесок и там варили кашу, расставляли ее в черепках по холмикам и „молили кукушку“ быть милостивой вещуньей; помню „игры солнца“ под Петров день, помню величальные песни и шумные свадьбы, помню трогательные молебны перед кроткой Заступницей всех скорбящих — в поле, под открытым небом...

Жизнь не стоит на месте, — старое уходит, и мы провозжаем его часто с великой грустью. Да, но не тем ли хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении? Детство миновало. Потянуло нас заглянуть дальше того, что мы видели за околицей деревни, тем сильнее потянуло, что и деревня становилась все скучнее, и береза уже не так густо зеленела весной, и крест у дороги ветшал, и люди истощили поле, которое охранял он. И так как беда никогда не ходит одна, то и самое небо, казалось, стало гневаться на людей. Знойные и сухие ветры разгоняли тучи, подымая вихри по дороге, солнце нещадно палило хлеба и травы. Подсыхали до срока тощие ржи и овсы. Было больно смотреть на них, потому что нет ничего печальнее и смиреннее тощей ржи. Как беспомощно склоняется она от горячего ветра легкими, пустыми колосьями, как сиротливо шелестит в знойный полдень! Сухая пашня сквозит между ее стеблями, видны среди них сухие васильки... И дикая серебристая лебеда, предвестница запустения и голода, заступает место тучных хлебов у старой проселочной дороги. Нищие и слепые все чаще стали с жалобными припевами обходить деревню. А деревня безмолвно стояла на припеке — равнодушная и печальная.

Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик Богоматери. Проходили годы, — Она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди стали забывать Ее. Еще несколько лет потомились они в степи и мало-

по-малу стали уходить по дороге к городу. А вскоре прошел слух, что вот-вот „всех погонят на новые места“. И оставшиеся в деревне с радостью ухватились за эту весть. Они прожили зиму в ожиданиях, а весной собрали свой скудный скарб, забили досками окна изб, запрягли лошадей и навсегда ушли из деревни на поиски нового счастья. Про „новые“ места они знали одно,—что там лесу и зверей много; но помощи было ждать неоткуда,—нужно было идти. И деревня опустела.

— Ни души!—сказал ветер, облетев всю деревню и закрутив в беспечном удалстве пыль на дороге.

Но береза не ответила ему, как отвечала прежде. Она слабо зашевелила ветвями и опять задремала. Она знала, что выгон в деревне зарос высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у порогов, что полынь серебрится на полураскрытых крышах. Степь вокруг была мертва, а десяток уцелевших изб можно было издали принять за кибитки кочевников, покинутые в поле после битвы или чумы. И голубец уже покосился под березой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья. Теперь в сумерки, когда за темными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые не мало видели перемен на этом свете...

Вот новые люди стали появляться на степи. Все чаще приходят они по дороге из города и располагаются станом у деревни. Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко убегают от них по дорогам. С рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю. Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без сожаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, и закидывают ее землю, потому что ищут они источников нового счастья,—ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего...

— Руда! Скоро этот край закипит народом, задымит трубами заводов, проложит крепкие железные пути на месте старой дороги и выстроит город на месте дикой деревушки!

## ВЕСНА

В Княжом праздник—весна.

По утрам долго держится липкая ржавая роса в зарослях сада, на кустах смородины, на крапиве и бурьяне за сараями. Днем жарко, весело, в голубом небе круглятся белые красивые облака. Припекает облупившуюся железную крышу дома, мохнатые бревенчатые стены его, черные стекла окон. В слуховом окне, против солнца, воркуют голуби. На сохнувшем и рассыпающемся фундаменте, на сирени палисадника липнет много крупных мух. Караковый жеребец князя стоит в поварской против дома—в длинной черной избе крепостных времен. Он беспокоится, не ест овса, насыпанного в лоток на лавке. Просунув голову в окно без рамы, он глядит на широкий зазеленевший двор и жалобно-страстно ржет.

Князь понемногу приходит в себя после долгой зимы. И эту зиму заживал он—все от одиночества, как говорят все; когда бывал трезв, ходил на охоту, играл в карты у лавочника, сидел в людской с работниками, случалось и обедал с ними, а не то читал в своем теплом кабинете и часов в шесть ложился спать. Теперь он выходит из дому чаще, отдает распоряжения. Бесстрастно восточное лицо его с большими седеющими усами.

Князь вспомнил, что пора чистить, подметать сад: уж таков спокон веку обычай в Княжом. И приказывает старосте пригнать девок-поденщиц. Девки весь день поют, сгребая листву по аллеям, по дорожкам, их красные и желтые сарафаны мелькают в полуголом, нежно зеленоющем саду. А вскоре веселеет и дом: растворены двери



на крыльцо, лезут в дом собаки, раскрасневшая баба с подоткнутым подолом и коленками цвета моркови бьет их мокрой ветошкой, бегаёт, согнувшись, среди ведер с горячей водой; в рамах, с треском выдираемых ею, сверкают на солнце стекла и зеркальными зайчиками озаряют потолки. Льётся тёплый, солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени возле дома, замирает на горячем подоконнике первая бабочка... Князь, в одной косоворотке, в плисовых вытертых шароварах и дегтярных сапогах, ходит с работниками по осеке за сараем, выставляет из омшанника колодки, полные сердито-певучего жужжания.

В воскресенье на Фоминой, как опять-таки ведётся спокон веку, молятся в поле, на озимях. Молится все село, заказывает молебен и платит из своих скудных средств — князь.

Ночь накануне холодная и лунная. Девки-поденщицы долго не спят, сидят на крыльце людской, вполголоса поют и оговаривают друг друга: грех, завтра праздник большой. Они живут в саду, в бане, но нынче баню топил — князь купается. Купается и кучер князя, Николай, в той избе, где стоит жеребец: приносит туда два ведра, ставит на лавку зажженный огарок. Косится, шуршит мокрой соломой, накиданной на полу, упруго перебирает ногами обеспокоенный огнем жеребец, а Николай сидит на соломе и намыливает голову...

Утро тёплое, солнечное. Приятно, когда звонят колокола в такое утро, приятно наряжаться под этот звон. Мягче кудрявятся белые облака над садом, млеет яркая синева между ними, со двора видно, как в полях, над зелеными и лиловеющими пашнями, бегут, струятся испарения.

— Дож будет, парит, — сказал староста, обходя с овечьими ножницами в руке поставленный возле кухни продранный стул, на который покорно, заранее вытянув и согнув шею, покрытый по плечам полотенцем, сел Николай в распоясанной рубахе.

Николай, пока подрубали на затылке его сухие ры-

жие волосы, все гляделся в зелёный осколок копеечного зеркала. Падают жёлтые клоки на полотенце, голова Николая становится меньше, уши отстают и торчат. Взяв у старосты ножницы, он постриг и усы: стал длинней его лебединый конопатый нос. Потом он нарядился: надел синюю атласную рубаху с рукавчиками, со вздутыми рукавами, с тремя крупными белыми пуговицами на высоком вороте, отделанном каемкой кружев; подпоясался малиновым шелковым жгутом с махрами; вбил ноги в тесные сапоги с лакированными узкими голенищами. Рубашка коротка, ноги Николая, обтянутые кавалерийскими штанами, слишком тонки, сам он худ и сутул, глаза у него маленькие, зелёные, лицо лиловатое. Он неуклюж, не хорош, но девки любят его: и наряден и на гармонь играет лучше всех.

В княжеском доме сумрачно. Тёплый воздух, льющийся в открытые окна, не скоро нагреет его. Все промерзло за зиму, с потолка в зале огромным животом висит отставшая, в коричневых подтеках, бумага. Морозы, время портят и зеркала, — сделали их молочно-серебристыми. Расставив ноги, глядя на мутное отражение своего морщинистого лица, князь долго скоблил щеки тупой бритвой. После бритья лицо его странно помолодело: умывается князь редко, бреется только перед тем, как запить. Но изнурил геморрой, пора, пора бросать настаивать водку лимонными корками! Да и соли в черных усах все прибавляется, редеют волосы... Намочив и причесав их, князь надел поверх пестренькой косоворотки новую синюю поддевку, надел дворянский картуз и, с ременным кнутом в руке, вышел на крыльцо, возле которого сидел на беговых дрожках и держал жеребца Николай.

Обедня отошла, на колокольне жидко и празднично звонят, разноцветная толпа течёт по выгону в поле. Пять человек без шапок, в новых калошах и поддевках чёрного блестящего сукна, низко подпоясанных красными подпоясками, несут хоругви и крест, увитый белым рушником. Две девки, в ярко-зелёных платьях, — икону Божией Матери. Когда толпа была уже за дубовым кустар-

ником, в поле, где дул теплый ветер и пели жаворонки, от церкви от'ехала плетеная тележка, запряженная серым меринком в яблоках. Поп в Княжом чахоточный, ехал он в толстой чуйке, в зимней шапке, в глубоких ботинках. На козлах сидело двое: правивший меринком дьячок и сын попа, Вася, спившийся с кругу дурачок, вечно находившийся в блаженно-радостном настроении. Он в церкви подтягивал дьячку дискантом, службы знал лучше всего причта, но отец часто выгонял его из алтаря за нетрезвость, не хотел нынче брать с собою. Однако, Вася, еще с раннего утра расчистив свои сбитые сапоги, надев продранный под мышкой пиджак, грязно-синий воротничок и розовый атласный галстук, так плакал, узнав, что его оставляют дома, что поп сдался.

Князь обогнал попа и кивнул ему.

— С праздником, ваше сиятельство, с молебствием! — радостно вскрикнув, крикнул Вася, больше всего на свете любивший праздники, дни ангела, поздравления.

Поп только покачал головою, поглядев на волосы Васи, густо лежавшие по воротничку.

С правой стороны тележки, равняясь с ходом лошади, не отставая и не забегая, шла старуха Марфа, добровольная прислужница при церкви, высокая, сухая, с ореховой палкой в одной руке и медным кофейником, из которого торчало кропило, в другой. Дьячок иногда подгонял лошадь и, смеясь, оглядывался на Марфу. Она ускоряла шаг, сердилась, но молчала.

Молились на клину богатого мужика Данила. Там, возле дороги, на молодых светло-зеленых всходах, приготовили стол под суровой, чистой скатертью, красную деревянную миску с зерном и пук свечей в хлопчатой бумаге. На юге-востоке, за серым княжеским садом и прозрачно-лимонными лозинами села, облака, мягко синяя, порою смазывались в тучку. Поглядывая то на них, то на приближающуюся тележку, выдвинувшись из пахнувшей кумачом толпы, стоял сам Данил, белокурый старик. Раскорячиваясь, далеко относя руку для крестного знамения и кланяясь, он пошел навстречу попу, — и мягкий вете-

рок, дувший с полей запахом сырой земли, шевелил его волосы, открывая розовую кожу черепа. Тележка остановилась, но поп продолжал сидеть в ней, поджидая обогнавшего его и опять отставшего князя.

Князь сдержал лошадь от волнения, охватившего его в поле. Озими, свежо зеленея, шли в одну сторону, дубовый кустарник — в другую. Сухая коричневая листва висела кое-где на нем, но и это говорило о весне. Синели подснежники, пахло залежавшимся в чаще снегом, весенним холодом. Тройка чудесных ореховых лошадей, разукрашенных дорогой сбруей, стояла на опушке. Полулежа в новом тарантасе, зубастый кудрявый кучер богатой соседки ел с ладони просфору. И князю вспоминалась молодость, другая, далекая весна...

Впереди медленно двигалась телега, в которой лежал больной мужик, отец Николая. Малорослой лошадью неумело правила мать его, скорбная жилистая старуха в черной паневе.

— Жив? — окликнул князь.

Из телеги, из соломы торчал острый восковой нос под глубоко надвинутой шапкой. Больной в просторном полушубке лежал на спине. Силясь улыбнуться, он с трудом потянулся тонкой рукой к шапке. Николай поклонился родителям, как чужой. А бесстрастные глаза князя стали как-будто еще бесстрастнее.

В толпе его нетерпеливо поджидали.

Марфа давно стояла наготове возле стола. Обогнав тележку, она подошла к молодой беременной бабе Данила и передала ей свою ореховую палку. Кофейник она поставила на стол, бархатный лиловый требник, лежавший на нем, подвинула на край. Как только поп занес ногу вон из тележки, скинув чуйку, Марфа ловко подхватила ее и, подхватывая, чмокнула его холодную, дряблую и тяжелую руку. Поп бодро прошел к столу, поклонился той богатой барышне, полной, косой и застенчивой девушке, чья тройка стояла на опушке дубняка. Он был выше всех, издали была видна его голова, поднятое землистое лицо, сквозная борода и серая шея. Несколько раз обернулся он, под-

жидая князя. Князь под'ехал. Тогда мельком, но молитвенно глянув вверх на высокие весенние облака, он вздохнул, вынул из длинного разреза ватной рясы красный платок, вытер большой глянцевиный лоб, — Марфа уже подхватила его шапку, — надел потертую золотую ризу, надел золотые очки — и, став строгим, зажег пучок свечей, праздничный дрожащий блеск которых сотнями точек отразился в стеклах очков. Низко поклонившись князю, стоявшему возле стола и твердо отставившему левую ногу, он выправил жидкие волосы из-за стоячего ворота ризы, откинув голову, наполовину прикрыв тусклые глаза воспаленными раковинами век, и невнятным, теряющимся в теплом полевом воздухе голосом начал молебен... И князю опять стало грустно, стало жаль себя и радостно за эту вечно-юную землю, просящую небо снизойти на нее благодатною весеннею влагой.

Он переменял ноги, выставил вперед правую, сделал мутные глаза. Чтобы не думать, он стал слушать мирный, успокаивающий и молящий голос, порою сливавшийся в пении с голосами дьячка и Васи.

Толпа кланялась, крепко прижимая пальцы ко лбам. Полная косая девушка робко поглядывала на князя. Данилова баба, вся в розовом, то бессмысленно пучила глаза и вытирала потеющие руки носовым платком, то начинала быстро, испуганно креститься. В ногах ее стоял мальчик в плисовых штанишках и козловых сапожках, под мышку подпоясанный по голубенькой рубашечке. Когда запели всем причтом, она, поспешно крестясь, надавила ему на голову левой рукой, поставила его на колени. Затем с трудом опустилась и сама, раскинув, по молодой зелени нижнюю белую юбку с кружевами и падая к ней лбом. Мальчик замолился неестественно набожно, косясь на сапоги князя.

Дул в'ветерок, шевелил волосы, шли легкие облака, шли по зеленым полям тени от них, — далеко было видно в прозрачном воздухе. Дрожали, бежали огоньки свечей, беззаботно-радостное пение жаворонков не мешалось с пением причта, но как-то хорошо дополняло его... Да-

руй, Боже, земле радость новую, новые всходы, — говорили слова молитв, пропадающих в теплом воздухе. — Благослови ее новой жизнью, да в забвении истлеет в ней семя старой, из коего и родится она, юная и чистая... Потом запели о воскресении Христа из мертвых. Глаза князя налились слезами — и он уже ничего не видал перед собою до конца молебна.

Когда он, склонив голову, поцеловал холодный, пахнувший медью крест и мертвую руку священника, солнце зашло за серо-золотистое, темное внутри облако, и на юге обозначилась синяя тучка с туманными полосами дождя.

— Поздравляю вас с праздником, ваше сиятельство, с благодатью Господней, — сказал священник, кланяясь ему так низко, что далеко отстала от груди епитрахиль.

Николай остался в толпе, отпросясь поговорить с отцом. Князь поехал назад один, разминувшись с тройкой, в мягком громахании бубенчиков плывшей навстречу ему. Солнце зашло за облака — и все краски дальних, ясно видных полей стали гуще, бархатнее. Слышнее стало гудение пчел на лозинах при в'езде в село, потянуло свежестью, зеленью распускающихся берез. Синеватая тучка на юге смазывалась, поблескивая небольшим молниями... Потом солнце опять выглянуло, молодо и радостно озаряя все, а из облака с сухим шорохом посыпались редкие алмазы.

У церковной ограды князь снял картуз и перекрестился на ветхую часовню над старинным княжеским склепом, вспомнил, как однажды спускался туда в молодости, тоже весною — через полгода после смерти отца... Полгода — велик ли срок! А уже ничего, ничего не осталось к той счастливой весне от старого грешного князя, кроме костей в тяжелом цинковом гробу и крупной росы на его поверхности — серебристого газа, эфира вечной жизни, улетавшего из темного ледяного подземелья в открытый люк, в голубое небо, в тепло весеннего солнца!

Чтобы не запить, князь чем-свет ушел на другой день со стариком Панкратом в Задонск. Яровое рассевали без него.



## СКИТ

Были светлые майские сумерки, когда я подвезжал верхом к караулке. Лошадь шла по узкой дороге среди березового и дубового леса, полного свежей поросли осин и орешника, и в полусумраке раздавался треск каждого сухого сучка под копытом. В старом „заказе“ все было молодо, зелено в этот вечер, соловьи нежно и отчетливо выщелкивали по сторонам, звонко перекликаясь с эхо. Уж и солнце давно зашло, и алые пятна заката слабели, сквозя по лесу, но не было заметно, чтобы лес готовился ко сну. Горлинки журчали где-то поблизости, кукушка глухо и настойчиво куковала в отдалении... В майские ночи, когда, как говорит народ, „заря зарю встречает“, сон слаб и недолог, до утра брезжит над землей полусвет.

А на поляне было и совсем светло. В ложине зеркалом стоял большой полный пруд, лес окружал поляну высокий и живописный, и налево рисовался над столетними березами и дубами бледный и прозрачный круг месяца. Старик караульщик, николаевский солдат, сидел над самым прудом, на пне, и заботливо подбрасывал сухие прутики в жаркий и проворный костерчик, разведенный в земляной печке под котелком. Как всегда, он был „прибран на случай смерти:“ чистые, хотя и заплатанные портки и рубаха, онучи аккуратно подвязаны оборочками. Он сидел, поставив на колени руки и положив в ладони голову, смотрел на огонь, а сам напевал тихим и тонким, совсем женским голосом.

— Или карасиков наловил, Мелитон?— спросил я, скакивая с лошади.

Он поднялся, вытянулся во весь рост и мгновенно принял бесстрастное выражение, стараясь скрыть свою постоянную печаль. Но печаль эта всегда чувствовалась, неловко было смотреть в бирюзовые грустные глаза под сдвинутыми бровями и видеть вместе с этим солдатскую подтянутость. Росту Мелитон был высокого, фигура у него была худая и костлявая. Густые серые брови и усы, сходящиеся на щеках со щетинистыми бакенбардами, а больше всего пробритый подбородок — придавали ему суровый вид; но лысина, эти бирюзовые глаза и чистая крестьянская одежда, свидетельствующая о готовности лечь „под святые“ когда угодно, говорили о кроткой отшельнической жизни.

Когда картошки в чугуничке стали сипеть, Мелитон потыкал в них щепочкой и снял чугуничек с огня. Огонь стал потухать, — только красная грудка жара светилась в земляной печке. Возле нее пахло сгоревшими дубовыми листьями, а когда старик стал чистить картошки, запахло так вкусно, что я попросил и себе парочку. И мы молча стали ужинать возле неподвижного потемневшего пруда, в тишине непогасавшей весенней зари. Закат за деревьями направо алел нежно и прозрачно, и казалось, что за лесом рассветает.

— Мелитон, — спросил я с юношеской простодушностью, — правда, тебя сквозь строй прогоняли?

— Правда-с, — ответил он просто и кратко.

Он ушел в избу, а я долго сидел один, глядя на свет зари и на тлеющие уголья. Появился он из сумрака неслышно и принес с собой большой ломоть ржаного хлеба, ножик, сделанный из старой косы, и горсть соли. Когда он клал все это на траву я опять спросил:

— А правда, ты умеешь заговаривать и отворять кровь?

— Когда рука была потверже, отворял, — ответил он, с трудом садясь на пень.

Нервно и ласково виляя хвостом, из сумрака появился и Крутик, маленький, но отчаянно злой, несмотря на свою ласковость. Он тоже сел возле огня, с удовольствием зевнул, облизнулся и стал следить глазами за каждым

движением Мелитона, чистившего горячие рассыпчатые картошки. Соловьи пели страстно и отчетливо, с нежной удалью.

- Жена-то у тебя давно померла? — спросил я.
- Восьмой год с. Да ведь их у меня две были.
- А дети?
- Детей у меня шесть человек было.
- Живы?
- Нет-с, померли.

И опять Мелитон замолчал, со старческой осторожностью пережевывая горячую картошку. Я вглядывался в его лицо, пока он сидел с опущенными глазами: нет, никогда не проникнуть мне в тайну его печальной молчаливости! Он кротко и беспомощно взглянул на меня, — я отвернулся. Было мне тогда девятнадцать лет, все умиляло меня: лес, небо, дубовая караулка, пучки каких-то трав и венчики в сенцах под крышей между сухой листвой решетки... На ногах старика лыковые лапти, на теле — чистая замашная рубаха... Как хорошо и самому прожить такую же чистую и простую жизнь!

— Для кого он собирает и вяжет эти венчики — думал я. Вяжут их из „перекати-поля“ и у старосветских помещиков еще до сих пор чистят ими платье. Они очень душисты; в детстве я сам собирал их... Воспоминание об этом и какая-то связь между воспоминаниями и Мелитоном еще более тронули меня, и я сказал, подымаясь:

— Совсем у тебя скит, Мелитон!

Старик улыбнулся.

— В скиту часовенки бывают-с, — сказал он, бросая корки хлеба Крутику, и залил водой из чугуничка уголья. Они зашипели и померкли. И тотчас же стало видно, что в лесу — светлая лунная ночь, что поляна освещена сияющим месяцем, а чащи почернели и отделились от нее. И ночь казалась еще прекраснее от того, что к северу за лесом теплилась вечерняя заря. Крутик, как только поужинал, тотчас же принялся за свою ночную работу. Он с звонким лаем хлопотал то там, то здесь за караулкой, и было похоже, что весь лес полон злыми и неугомонными

собачонками. Мелитон зажег лампочку в избе, настилая мне на конике сена, — окошечки под ее старой нахлобученной крышей засияли, как два золотые глаза... Потом он вынес лампочку в сени. Я вошел туда, и он опять улыбнулся мне.

— А то вот-с на мою коечку ложитесь, — сказал он, указывая глазами на свою кровать.

Под крышей мягко и фантастично переламывались наши большие тени. В углу, направо от входа, было устроено нечто вроде койки на высоких ножках из бревен. На ней было постлано сено, покрытое попоной и возвышавшееся к изголовью.

— Да какой теперь сон, — сказал я, — скоро уж и расцветать станет.

— Скоро-с, — согласился Мелитон бесстрастно.

И правда, мы только подремали. В темной избе было прохладно, в окошечки виднелись зеленоватые кусочки лунной ночи. Но что-то не давало мне спать; достаточно было тонкого напева комара, чтобы очнуться. Я слушал Крутика, соловьев, думал о чем-то, чего не вспомнишь, как всегда в бессонную ночь... Не спал и Мелитон. Его дожимали блохи.

— Ну, уж погоди, окаянный, отучу я тебя спать под койкой! — бормотал он изредка.

Потом он кашлял, вздыхал и что-то шептал... Наконец, я услышал его шаги под окнами. Я высунулся из окна на прохладу ночного воздуха. Мелитон меня не замечал. Он сидел на пороге, опустив голову, не спеша растирал на ладони листовую табак и опять напевал грустным женским голосом.

— Ах, Господи-Батюшка! — прошептал он с глубоким вздохом, покачивая головой и высекая огонь. И, закурив трубку, оперся на руку и запел внятнее, задушевнее.

Слышно было, что рассказывал он в песне про зеленые сады и напоминал кому-то с добрым укором те места, где „скончалась, распрощалась, ах, да прежняя любовь“... А ночь так и сияла. Все замерло, месяц вы-



брался на середину неба над самым прудом. Изредка по воде что-то струисто поблескивало, точно серебристый уж. У противоположного берега воды как будто не было. Там была светлая бездна в другое, подземное небо. Вековые дубы и березы на том берегу казались теперь выше и стройнее, чем днем. Тайнственно в росистой и темной чаще леса ночью! Но еще таинственнее был тот лес, который, вверх корнями, темнел под берегом, уходя вниз вершинами. А налево уже занималась утренняя заря; небо там стало стеклянно-зеленое, а за опушкой леса, далеко в поле, начали свежо и четко перекликаться перепела... Я закрыл глаза... Когда же очнулся, был уже день. Пруд дымился, поляна поседела от молодой крупной росы, зеленый лес неподвижно стоял вокруг пруда, и зелень его была еще пышнее и гуще. Все точно умылось к утру и ждало его в спокойной и ясной тишине. А потом в оква потянуло свежестью, в пруде заквакали лягушки, и петух сильно и выпукло захлопав крыльями, заорал в сенцах, хриплым басом. Мелигон, согнувшись, шел от пруда с тяжелым, полным ведром, из которого плескалась вода, и оставлял за собой длинный ярко-зеленый след по седей полянб...

В тот же день я уехал на юг, а потом за границу и совсем не заметил, как прошла осень. Изредка только вспоминалась мне Россия... Тучи низко идут над полями и грязными поселками, в туманном от мелкого дождя поле одиноко сидит грач на пашне, а на межах ветер качает бурьян. В голом редком лесу почернела от дождя стена караулки, перед порогом стоит лужа, полная гнилых листьев. В избе темно и сыро. А ночью бушует в лесу буря, а ночь длится чуть не двадцать часов... Какое нужно терпение, чтобы покорно пережить эту бесконечную осень!

Когда я вернулся в Россию, все было под снегом. Двое суток поезд мчал меня по снежным равнинам и лесам. В России был голод; но почти весь декабрь стояли хмурые дни, и густой иней нарастал под серым и низким небом на деревьях и телеграфных проволоках: это предвещало

урожаем. И первое, что сказал мне на станции наш кучер, было слово „иней“.

От инея посерели и стали кудрявыми шапки, бороды, лошади и тяжелая, холодная волчья полость в саях. В сумерках сливались небо, воздух и глубокие снега, завалившие весь двор станции. Я сел в бегунки один, послал вперед троечные сани с вещамй, приказал ехать веселее. Кучер, стоя в саях, перевалился через высокий сугроб на выезд в поле и шибко погнался по снежной дороге. Я отстал.

Морозило, иней на межах наседали на бурьяны так густо, что они, как огромные серебряные папоротники, лежали, пригнувшись к земле. Потом уже ничего нельзя было разглядеть в седой мгле ночи. Чувствуешь только запах снега и слышишь какой-то шопот: это шуршат полозья. И поминутно теряется представление о том, куда едешь.

Но вот во мгле на горизонте стало светлеть. Пробиваясь малиновым шаром, стал подыматься большой месяц, еще мутный, перерезанный пополам лиловой длинной тучкой. Подымаясь, он оставил тучку ниже себя, а сам делался все золотистее и прозрачнее, от лошади и саней обозначались направо тени. Когда же я под'ехал к каказу, в'ехал в сумрак, лежавший от него по полю и прихотливо испещренный узорами света,—вся снежная даль направо была озарена ярко и сияла.

А в лесу было сказочное мертвое царство. Деревья в пушистом инее казались огромными; они низко опустили свои тяжелые, кудрявые вершины, и месяц серебрил их. Порою, на снежной поляне, он смотрел прямо на меня, порою я в'езжал в сумрак, и месяц таинственно сквозил за снежными деревьями... Но вот красновато-золотистой звездой засветился огонек в караулке, и по всему чуткому морозному лесу пошел звонкий, разбегающийся по чащам лай Крутика.

У дубка перед караулкой я привязал лошадь. С дубка бенгальским огнем сыпались искры снега, а Крутик извивался у меня под ногами. Я постоял и послушал глу-



бокую тишину леса, осторожно подошел к завалинке и заглянул в верхний кусочек полузамерзшего окна... И глухая отшельническая жизнь старика снова поразила меня своей мужицкой, древне-русской суровостью. В глубине слабо освещенной, закопченной избы он стоял перед иконой и, закрывая глаза, кланялся ей в пояс, точно сокрушаемый великими грехами. Должно быть, он только что выкупался, — конечно, в ледяных сенцах, где решетник в инее сверкал при лампочке своей серебряной бахромою. Редкие волосы его были мокры и причесаны, подбородок чисто пробрит, длинная белая рубаха аккуратно подпоясана. И когда он закидывал назад голову и долго стоял так с закатившимися под лоб глазами, я видел на его лице такую скорбь, такую восторженно-грустную готовность принять тихую, желанную смерть!

Говорил он опять мало, хотя был ласков. В избе было тепло и сыро, как в бане; я скинул шубу и сидел на лавке у столика. А старик стоял передо мною, отвечал не спеша и все прикрывал глаза. Наконец, уже собираясь уезжать, я как будто мимоходом спросил:

— Мелитон, отчего это ты такой скучный?

Он удивился.

— Я-с? — спросил он растерянно. — Я ничего-с... Известно, старость.

— Или горе у тебя какое? — сказал я, глядя ему в глаза.

— Избави Бог-с! — сказал он поспешно. — Я караюлю-с...

— Да нет, я не про то, — сказал я, смутившись. — Я так спросил...

Он понял, успокоился и нежно улыбнулся, прикрывая глаза.

— А я думал, обида какая-с, — сказал он ласково. — А что я невеселый, так какое же веселье? И грехов много-с...

— Какие же у тебя грехи, Мелитон!

— Грехи-с у всякого есть, — сказал он со вздохом, кротко и серьезно. — На то и живем-с, чтобы за грехи каяться.

— Да ты и то как святой живешь. Ты вон постишься целый век...

Он опять удивился и даже слегка нахмурился.

— Ем-с, как все, — сказал он скороговоркой. — Живут хуже моего-с, все так живут...

— Ну, прощай! — сказал я, надевая шубу и отворяя дверь на морозный воздух лунной ночи.

Морозило крепко, и Большая Медведица, как бриллиантовая, висела по небу над снежной поляной. Мелитон без шапки и в одной рубахе стоял на пороге.

— Прощай, Мелитон! — сказал я, садясь в сани. — Иди в избу, простудишься!

— Ничего-с, — смиренно ответил Мелитон. — Счастливой дороги-с!

Лошадь в светлом поле бежала шибко и бодро, полозья пели и визжали по затвердевшему снегу, ветер с севера слегка обжигал лицо, сковывая усы и ресницы. Я отвертывался от него, прикрываясь пахучим на морозе енотовым воротником.

## СВЕРЧОК

Эту небольшую историю рассказал шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, скупой и дельно хозяйствовавшим в огромной дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего забитого двухэтажного дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый, грязный флигель, в упраздненную контору с обвалившейся штукатуркой, где зимовала птица и помещались шорники, работник и работница.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленой мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором, навалены были и на верстаке, и на затоптанном, как в закуте, засоренном полу. Воняло и птицей из темной кухни, куда была отворена дверь, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вонючей и каждый день сидевшие в ней с согнутыми спинами не менее десяти—одиннадцати часов, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно же тем, что Ремер не жалеет топки, хотя мог бы жалеть, отпуская хорошие харчи. С узеньких подоконников за верстаком капало, на черных стеклах сверкал и

резко белел липкий мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких тяжелых сапогах, назаябшаяся за день, отдыхала на продранном стуле у вымазанной по мелу глиной, горячей печки. Она грела спину и руки и, немного склонив на бок маленькую голову, закутанную пеньковым платком, не сводя остановившихся глаз с огня, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукивание молотка по хомуту, который делал Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка. Медленно, слоями плавал по комнате синеватый дым махорки, шумел ветер за стенами. И все долго молчали, поджидая прихода господ.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посредине между работавшими, но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по-локоть. Сила, уверенность в себе чувствовались и во всей фигуре этого черно-волосого тридцатилетнего человека, похожего на малайца, в каждой выпуклости его мускулистого тела, ясно обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей на нем рубахой, бывшей когда-то красной, и казалось всегда, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, выросшего в городе и никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, даже усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, охотно помогавшего этой шутке, — тоже, не то в серьез, не то для забавы пугавшегося этих окриков.

Василий, держа между голенищами и коленками, прикрытыми замашным засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его толстой, темнолиловой пахучей кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую го-

лову в черных, влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной и себе, и окружающим, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую, еще нечерненную, розово-телесного цвета шлею, как и Василий, захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накалывал ее, с трудом, — шевеля языком и приворавливая к свету лысую голову, — попадал щетиной в дырочки, хотя раздвигивал в разные стороны и закреплял конец тоже ловко и сильно, даже с некоторым удалством старого, натерелого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено и значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он, одетый совершенно так же, как и Василий, был ровно вдвое старше его и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, вставал ли, — разница была не велика, — так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими сапоги. Ходил он, — тоже от старости, — неловко, согнувшись, так что отставал фартук и виден глубоко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой, взамен усов, чернели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо „барин“ говорил он „байн“, вместо было — „быво“ и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, своей повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков, купающихся два — три раза в год.

Сквозь шум метели слышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей — и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми

хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Большая темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевитый каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесков еще великолепнее, а нежное, милое лицо его жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза, и пуховый серый платок, окутывающий ее голову, еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково поблагодарила ее, заставила остаться на своем месте и села на длинную кухонную скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами; потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не снимая шапки. Она тоже не разделась, сидела, как будто чего ожидая, и счастливо думала то о той новой, приятно непривычной жизни, которой она уже полгода жила в деревне, то о далекой Москве, ее улицах, огнях, трамваях. Как всегда, господа пришли только на минутку, — уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух, — но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние, заговорились... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок о том, как замерз его сын.

— Однако, ты, брат, ловок, — прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. — Однако, ты, б'ат, вовок. Я, небось, постарше тебя немножко, — сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

— Что? — притворно-грозно крикнул Василий, сдвигая брови. — Ай тумака захотел? Так дождешься. Я и не таких окорачивал, а от сверчков-то только мокро оставалось. Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп — так в богадельню.

Все улыбнулись, — даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки, всегда немного жалко Сверчка, — и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой



покрутил и, вздохнув, разогнулся и остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах и с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев рукой, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет, собьется с дороги в такую куру. Ремер, думая о чем-то своем, стал ее успокаивать,—не поедет он, мол, переночует в Чичерине, а если и поедет, так не беда, кура теплая,—как вдруг Сверчок, делая вид, что очень занят шлеей, отклоняясь и оглядывая ее, сказал с грустным добродушием:

— Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да прочувствуй с мое! Ан не доживешь! Сверчок, брат, сверчку розь. Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянул, жил—и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я, брат, очень даже хотел жить, пока было антиречно, и жил, смерти не поддавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели и господа, и кухарка, удивленные его необычным тоном,—на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра вокруг флигеля,—и серьезно спросил:

— Что это ты буровишь такое?

— Я-то?—сказал Сверчок, поднимая голову.—Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал, небось, какой молодец был? Пожалуй, еще почище тебя будет, да и силой не уступил бы, а вот не мог же того выдержать, что я.

— Ведь, он замерз, кажется?—спросил Ремер.

— Замерз, я его знал,—ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил:—Да он и не сын ему, говорят, был, Сверчку-то.

— Это дело иная,—так же просто сказал и Сверчок,—это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай Бог, чтоб твои так-то тебя почитали, да я и не

докапывался, сын он мне, али нет, моя кровь, аль чужая... авось, она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дорожке десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня,—сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: „сударыня“—вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

— Кура сильная была?—спросила кухарка.

— Никак нет,—сказал Сверчок.—Туман.

— Как туман?—спросила, внезапно оживляясь, барыня.—Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

— Хм!—сказал он.—Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете—с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло,—картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, еще суровее сдвинувшему брови и севшему на скамью, а только к одной барыне,—это вышло-с как раз под самый Николин день...

— А давно?—спросил Ремер.

— Да лет пять или шесть тому назад,—ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая цыгарку.

Сверчок мельком, старчески строго глянул на него.

— Оставь мне затянуться, сказал он и продолжал:—работали мы, сударыня, у барина Савича в Огневке,—он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня, знал, что плохому не научу,—ну, работали и работали, а квартиру в селе, в Маховом снимали, жили после смерти матери в роде как два дружных товарища. Подходит, наконец, того, Николин день. Надо, думаем, домой отлучаться, немножко в порядок себя привести, а то уж очень все на нас земле предалось и, по совести сказать вошь доняла. Собираемся этак на-вечер, а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру вернула, а льни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, при-

бираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте,—скупой барин-то был, огарочка не разживешься,—чувствуем, что припоздали маленько—и, верите ли, такая тоска вдруг взяла меня, что я и говорю: „Дорогой, ты, мой товарищ, Максим Ильич, ай, нам остаться, до утра обождать?“

— А вас Ильей зовут?—спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка, и на мгновение залилась нежным румянцем, отчего еще прекраснее стали ее сине-серые глаза и длинные ресницы.

— Ильей-с,—ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, подтер нос,—Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все,—вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча,—шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут... разве молодому о смерти-то думается? „Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!..“ Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтянулся,—красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с!—взял палочку, сунул мне в руку мешочек с нашим добришком, с шильцами нашими—и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уж совсем стемняло, барский сад сизыми шапками, инеем оброс, как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится, да делать, значит, нечего, не хочу молодого человека обижать молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись,—а окон у барина уж не видать, все серое, сумратное сделалось, стоит, надвинулось, даже смотреть жутко. Отвернулся я от ветру,—в одну минуту дух захватило, так и несет холодом с этой мглой, туманом, вроде как дыхание какое,—чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а сапоги-то на нас нагольные, да и поддевички на шереметьевский счет шиты, и опять говорю: „Ой, вернемся, Максим, не форси!“ Он, было, и задумался... Да известно, дело не старое, по себе, небось, сударыня, знаете, — как свою гордость не показать?—насунилса поскорее и опять пошел. Входим в деревню,—конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, скучные, как дым

какой, а все-таки—жилье,—он и бубнит: „Ну, видишь? Чего дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только сначала так стюдено показалось, а теперь совсем тепло... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...“ А уж какая там, сударыня, тепло, все водовозки на четверть инеем обросли, все лозинки, полынки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жилье, да от этих огней еще больше жуть, туман еще сизей, сумратней выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и званья не осталось... Одно слово—ночь лютая, самая что ни на есть волчиная глухомань.

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окурок Сверчку, перебил его:

— Ну, ты, гвухомань, этак до второго пришествия не кончишь. Ты, многоглаголевый Абакум, скорей рассказывай.

И деловито перевернул на коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, щепотками, кончиками прокопченных, с синей грязью под ногтями пальцев, взяв у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

— Ну, Бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Чистая, брат, восца в тебе сидит... Все поскорее да кое-как.. Да я и не тебе, я господам рассказываю,—вот барыне, может, антиресно послушать, они еще не знают, как следует, нашего мужицкого дела... Я и хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня,—продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах интерес и сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе,—мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли за деревню, за задворки, по-нашему, да попали в эту темь, во мглу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, агромадный луг, буераки до самого Махового идут, а над ними дорога зимняя всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а заместо того влево

забрали по-чьему-то следу, к бибииковским, значит, оврагам, и след этот тоже на беду упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная,—кто не блудил, все блудили,—а я то хотел сказать, какую муку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до того испугался, как, значит, проходили мы, прокружились часа два, али три да зарьяли, задохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо,—всякому, понятно, свой живот дорог,—но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня Господь! Я, понятно, так и думал, что мне первому конец,—многоль во мне духу, сами изволите видеть,—а как увидал, что не мне, что я-то жив стою, а уж он на снег сел, как увидал это...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала и сморкалась в подол, и вдруг, заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими большими руками цыгарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже, новым, размеренно твердым и повышенным тоном:

— Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было — до нашего, то-есть, брата, дворового, — так вот он замерз, под городом нашли, — лежит в карете, весь снегом забит, и сам окоченел уж давно, и во рту лед, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сетер его любимый, под шубой под енотовой; он, значит, злодей-то такой, шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела... А ведь тут не кобель, тут — сын родной, дорогой мой товарищ! Да, сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними — не спасешь, хоть на весь белый свет кричи — никого не докричишься! Он вскорости еще пуще ме-

ня испугался, и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы этот след, он сразу и заметался. Сперва все покрикивал, зубами ляскал да отдувался, как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с морозом, потом в роде как ошалел. „Стой! — кричу. — Ради Христа, стой, давай сядем, обдумаемся!..“ Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает ничего, либо не слышит. Темь, хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо инеем занесло, сковало, губ в роде как совсем нету — одна челюсть голая — и ничего не поймешь, ничего не видать! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется — и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по поясу... того гляди, думаю, из виду его упушу... вдруг — раз! сорвались куда-й-то, покатались, задохнулись в снегу... чую — в оврагах сидим. Тут он маленько, было, одумался. Помолчали, помолчали, отдышались — вдруг он и говорит: „Это что, отец? Бибииковские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем. Вылезем — целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, — я тебя доведу“. А уж голос-то дикий, не живой. Не говорит, а рубит.. И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели, зарьяли... месили, месили снег еще часа два, попали еще дальше, в кустарник дубовый бунинский, да как наткнулись на него, да поняли, что мы уж верстах в пятнадцать от Огневки, в степи пустой, — тут он и сел вдруг: „Сверчок, прощай“. — „Стой, как прощай? Очнись, Максим!..“ — Нет, — сел и смолк...

— Долга песня рассказывать, сударыня! — вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови. — Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а а, думаю, вон что, — помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять — мол, поддержишь хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопрись на меня. — Нет, — валится с ног долой, да и только! А я бы и помер от такой страсти, да уж — не могу... не в состоянии... И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледенел,



я его, мужчину этакого, на закорки сгреб, навалил, под ноги подхватил — и попер целиком. Нет, думаю, стой, нет, шалишь, не отдам, — мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страха встают, как он своей студеной головой, — картуз-то уж давно свалился, — по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу, как шальной: „нет, постой, не отдам, помирать мне теперь не время!“ Думалось так, сударыня, — сказал Сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу, — думалось так... принесу... принесу на чело... может, оттает, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и, закурив новую цыгарку, положил ногу на ногу и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, которая уже поднялась с места, чтобы нести через весь двор, сквозь эту мокрую снежную бурю ужин господам, Василий серьезно сказал:

— А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я не чаял такой прыти от тебя.

— Вот то-то и оно-то, — тоже серьезно и просто ответил Сверчок. — Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

— А сколько ему было лет? — спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбающуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

— Двадцать пятый-с, — ответил Сверчок.

— И больше у вас не было детей? — робко спросила барыня.

— Нет-с, не было. Да и то вот все говорят, что не мой он был, Максим-то.

— А у меня вон целых семеро, — нахмуриваясь, сказал Василий. — Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

— Ну, это не нашего ума дело, — еще проще, серьезней и грустней ответил он и опять взялся за шило. — Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Они уж чувствовали себя как-то неловко, лишними. Но еще долго стояли, чтобы не выказать этого, уйти проще, не сразу, и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до Махового, а до железной дороги и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем потерял сознание. Рассветло, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается ему в редкие усы и белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

— Дивное дело, — сказала кухарка, когда он кончил, — не пойму я того, как ты сам то в такую страсть не замерз?

— Не до того было, матушка, — ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи.

## НА КРАЙ СВЕТА

## I

То, что так долго всех волновало и тревожило, наконец, разрешилось: Великий Перевоз сразу опустел наполовину.

Много белых и голубых хат осиротело в этот летний вечер. Много народу навек покинуло родимое село — его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгон, где так весело в солнечное воскресное утро, когда кругом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит тихой музыкой лира, а важные волю, прикрывая от солнца глаза, сонно жуют сено под эти нестройные звуки; покинуло разноцветные огороды и густые верболозы с матово-бледной длинной листвой над „кривицею“, при спуске к затону реки, где в тихие вечера в воде что-то стонет — глухо и однотонно, словно дует в пустую бочку; навсегда покинуло родину для далеких Уссурийских земель и ушло „на край света“...

Когда на село, расположенное в долине, легла широкая прохладная тень от горы, закрывающей запад, а в долине, к горизонту, все зарумянилось отблеском заката, зарделись рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки, и за рекой, как золото, засверкали равнины песков, — на селе прекратилась суматоха, скрип телег, торопливый, отрывистый говор, и народ, пестреющий яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, к белой

старинной церковке, где молились еще казаки и чумаки перед своими далекими походами.

Там, под открытым небом, между нагруженных телег, в многолюдной толпе, начался молебен, и в толпе воцарилась мертвая тишина. Голос священника звучал внятно и отдельно, и каждое слово молитвы проникало до глубины каждого сердца...

Много слез упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то снаряженные в далекий путь „лыцари“. Они тоже прощались, как перед кончиной, и с детьми, и с женами, и не в одном сердце заранее звучала тогда величаво-грустная „дума“ о том, „як на Черному морю, на билому камени сидит ясен сокил билозирец, жалибненько квилит-проквиляе...“ Многих из них ожидали „кайданы турецкии, каторга бусурманская“, и „сиви туманы“ в дороге, и одинокая смерть под степным курганом, и стаи орлов сизокрылых, что будут „на чорни кудри наступати, з лоба очи козацькии видирати...“ Но тогда надо всем витала гордая казацкая воля. А теперь стоит серая толпа, которую навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета, эти желтые пески, что сверкают за рекою. И как на великой панихиде, заказанной по самому себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом, глубоком небе...

А потом поднялись вопли... И среди гортанного говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору. В последний раз показался Великий Перевоз в родной долине — и скрылся... И сам обоз скрылся, наконец, за хребтами, в полях, в блеске низкого вечернего солнца...

## II

Провожавшие возвращались домой.

Народ толпами валил под гору, к хатам. Были и такие, что только вздохнули и пошли домой торопливо и беспечно... Но таких было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые, хозяйственные мужики; плакали дети, которых тащили за маленькие ручки отцы и матери, громко кричали молодые бабы и дивчата.

Вот две спускаются под гору, по белой каменистой дороге. Одна, крепкая, невысокая, хмурит брови и рассеянно смотрит своими черными серьезными глазами куда-то в даль, по долине. Другая, высокая, худенькая, плачет... Они наряжены по-праздничному, но как горько плачет девушка, прижимая к глазам рукава сорочки! Спотыкаются сафьяновые сапоги, на которые так красиво падает из-под плахты белоснежный подол...

— Зинька, слухай же!—говорит ей подруга быстрым умоляющим шопотом,—хай ему чорт, чога ты плачешь?

Она никого не провожала — ни родных, ни близких; но и она крепко сдвигает черные брови, чтобы не расплакаться.

— Ты слухай!—повторяет она.

— Отчепись!—вскрикивает Зинька злобно. Но плечи ее вздрагивают и сквозь слезы она прибавляет совсем по-детски:

— Ох, хйба ж я чаяла!

Звонко, с неудержимой радостью пела она до глубокой ночи, бегая на реку с ведрами, когда отец Юхыма твердо сказал, что не пойдет на новые места! А потом...

— Прокинулись сю ничь—говорил Юхым растерянно, — прокинулись воны, Зинька, та й кажуть: „Идемо на переселение!“— „Як же так, тату, вы ж казали...“— „Ни, кажуг, я сон бачив...“

А вот на горе, около мельниц, стоит в толпе стариков старый Василь Шкуть. Он высок, широкоплеч и сутул. От всей фигуры его еще веет степной мощью. Но какое у него скорбное лицо! Ему вот-вот собираться в могилу, а он уже никогда больше не услышит родного слова и помрет в чужой хате, и некому будет ему глаза закрыть. Перед смертью оторвали его от семьи, от детей и внучат. Он бы дошел, он еще крепок, но где же взять

эти семьдесят рублей, которых не хватило для разрешения итти на новые земли?

Старики, рассеянно переговариваясь, каждый с своей думой, стоят на горе. Они все глядят в ту сторону, куда отбыли земляки.

Уж давно не стало видно и последней телеги. Опустела степь. Весело и кротко распевают, сыплют трели жаворонки. Мирно и спокойно догорает ясный день. Привольно зеленеют кругом хлеба и травы, далеко-далеко темнеют курганы; а за курганами необъятным полукругом простерся горизонт, — между землей и небом охватывает степь полоса голубоватой воздушной бездны, как полоса далекого моря.

— Що воно таке, сей Уссурийский край? — думают старики, прикрывая глаза от солнца, и напрягают воображение представить себе эту сказочную страну на конце света и то громадное пространство, что залегает между ней и Великим Перевозом, мысленно увидеть, как тянется длинный обоз, нагруженный добром, бабами и детьми, медленно скрипят колеса, бегут собаки и шагают за обозом по мягкой пыльной дороге, пригретой догорающим солнцем, „дядьки“ в широких шароварах... Небось, и они все глядят в эту загадочную голубоватую даль:

— Що воно таке, сей Уссурийский край?

А старый Шкуть, опершись на палку, надвинув на лоб шапку, представляет себе воз сына и с покорной улыбкой бормочет:

— Я ему, бачите, и пилу, и фуганок дав... И як хату строить вин теперь знае... Не пропаде!

— Богато людей загинуло!—говорят, не слушая его, другие.—Богато, богато!

### III

Темнеет—и странная тишина царит в селе.

Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю синеву глубокой долины, медленно затушевывают эту огромную картину широкой изменности с тем-



ными кущами прибрежных роц, с тускло блестящими изгибами речки, с одинокими тополями, что чернеют над долиной. Старинный Великий Перевоз сереет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменистой горы. Смутно, как полосы спелых ржей, желтеют за рекою пески. За песками опять, уже совсем неясно, темнеют леса. И даль становится дымчато-лиловой и сливается с сумеречными небесами.

Все, как всегда, бывало в этой мирной долине в летние сумерки... Но нет, не все! Много стоит хат темных, забитых и немых...

Уже почти все разбрелись по домам. Пустеет дорога. Медленно идет по ней несколько человек, провожавших переселенцев до ближнего перекрестка.

Они чувствуют ту внезапную пустоту в сердце и непонятную тишину вокруг себя, которая всегда охватывает человека после тревоги проводов, при возвращении в опустевший дом. Спускаясь под гору, они глядят на село другими глазами, чем прежде, — точно после долгой отлучки.

Вот расстилается пахучий дымок над чьей-то хатой... покойно и буднично...

Вот красной звездочкой, среди темных садов, среди скученных дворов, загорелся огонек...

Глядя на огоньки и в долину, медленно расходятся старики, и на горе, близ дороги, остаются одни темные ветряки с неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идет под гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческого горя, Василь Шкуть. Медленно отложил он калитку, медленно прошел через дворик и скрылся в хате.

Хата родная. Но Шкуть в ней больше не хозяин. Ее купили чужие люди и позволили ему только „дожить“ в ней. Это надо сделать поскорее...

В теплом и душном мраке хаты выжидательно трюкает сверчок из-за печки... Словно прислушивается... Сонные мухи гудят по потолку... Старик, согнувшись, сидит в темноте и безмолвии.

Что-то он теперь думает? Может быть, про то, как где-то там, по смутно белеющей дороге тихо поскрипывает обоз?— Э, да что про то и думать!

На бледно-свинцовом фоне маленького окошечка, выходящего в сад, чернеют силуэты двух-трех покосившихся надмогильных крестов. В саду, возле хаты, давным-давно почивают вечным сном почти все его родные... Он остался с ними. Надо поскорее к ним, в их „домовину“, в дубовую „труну“. Пора на покой, на отдых...

Звонкий девический голос замирает над селом за рекою:

Ой, зийди, зийди,  
Ясень місяцю!

Глубокое молчание. Южное ночное небо в крупных жемчужных звездах. Темный силуэт неподвижного тополя рисуется на фоне неба. Под ним чернеет крыша, белеют стены хаты. Звезды сияют сквозь листья и ветви...

#### IV

А они еще недалеко.

Они ночуют в степи, под родным небом, но им уже кажется, что они за тысячу верст ото всего привычного, родного.

Как цыганский табор, расположились они у дороги. Распрягли лошадей, сварили ужин; то вели беспокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились друг друга...

Наконец, все стихло.

В звездном свете темнели беспорядочно скученные возы, виднелись фигуры лежащих людей и наклоненных к траве лошадей. Сторожевые, с кнутами в руках, сонно ежились возле телег, зевали и с тоской глядели в темную степь...

Но с какой радостью встрепенулись они, когда услышали скрип проезжей телеги! Земляк! Они окружили его, улыбались и жали ему руку, словно не видались много-много лет.

Разбуженные говором, подымались с земли и другие

и, застенчиво скрывая свою радость, тоже толпились у телеги проезжаго, закуривали трубки и были готовы говорить хоть до самого света...

Потом опять все затихло.

Взволнованные встречей, засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали об одном, — о далекой неизвестной стране на краю света, о дорогах и больших реках в пути, о родном покинутом селе...

Холоднело. Все спало крепким сном — и люди и дороги, и межи, и росистые, наклонившиеся хлеба.

С отдаленного хутора чуть слышно донесся крик петуха. Серп месяца, мутно-красный и поникший на сторону, показался на краю неба. Он почти не светил. Только небо около него приняло зеленоватый оттенок, почернела степь от горизонта, да на горизонте выступило что-то темное. Это были курганы. И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги.

Но что им, этим вековым молчаливым курганам до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и также бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радостей видели эти курганы.

Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!

## НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

На вокзале не было обычной суматохи: наступала святая ночь. Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все служащие поспешили докончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дожидаться праздника, отдохнуть хотя не надолго от беспорядочной жизни.

Полутемный зал третьего класса, всегда переполненный людьми, гулом вестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь был пуст и прибран. В отворенные окна и двери веяло чистой свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света...

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на „низы“, на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его „кочетком“) и строго объявит, когда и какой товар-

ный поезд потянет их на „Харцысскую“. Со скуки они весь день проспали.

Душный вечер расслаблял тело. Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер запахом распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, неся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил далекий закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь...

— Ох, должно, не скоро еще! — шопотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

— Служба-то? — отозвался другой. — Должно, не скоро. Теперь не боле семи.

— А то и всех восемь наберется, — добавил третий.

Всем было тяжело. Только один не хотел сознаться в этом.

— Ай соскучился? „А-а-а“... — зевнул он, передразнивая первого говорившего. — Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

— Будя, Кирюх, буровить-то, — серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: — Парменыч, поди, глянь на часы, ты письменный.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

— Не уразумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

— Да ай не все равно, — опять заметил Кирилл насмешливо. — Хушь смотри, хушь не смотри — одна честь!

Это был молодой мужик с добрым толстым лицом; он недавно женился и скучал теперь сильно, хотя и скрывал тоску в беспечной позе — лежа на животе и раскинув ноги в стороны; только иногда крепко вертел лохматой головой.

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так

жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе, и заскоружилые, изорванные полусубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попытался и покосился влево, на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела и узких плеч было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

— Федор, спишь? — тихо окликнул его старик.

— Н-нет, — ответил тот сильным голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шопотом спросил:

— Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

— Чего ж мне скучать?

— Да ну! Ты скажи, не бойся.

— Я и так не боюсь.

— То-то мол, не тайсь...

Федька молчал. Старик долго с задумчивой улыбкой глядел на его худенькие плечи... потом тихонько отвернулся.

Уже и на закате стемнело. Контурь вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в тесном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром.

Потом издали гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и за-



тих. Через минуту что-то завизжало, закрипело, вагоны дрогнули, подались назад — и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то, невидимый, нес фонарь, и светлый круг, колебаясь, двигался по земле, под темной стеной вагонов.

— Тридцать четыре, — сказал один из мужиков.

— Кого? Вагонов-то? Боле будя.

— А, может, и боле.

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную по середине, слушал, как что то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело вздохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути... Ничто, ничто не напоминало тут праздника!

— Я думал, они хушь в праздник-то не ходят, — сказал Федька.

— Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить...

И слышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отправили!

Старик заговорил о „Харцвуской“. Но впереди была полная неизвестность: и где эта „Харцвуская“, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот, если бы земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки... И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, беспокойно зачесался, сел и опустил голову.

— И чего тут остались? — слышался один неуверенный голос. — Хушь бы в город пошли — авось, всего версты четыре... либо в монастырь...

— А ну как сейчас велют садиться? — угрюмо ответил Кирилл. — Его пропустишь, а там и сиди опять десять ден.

— Надо пойтить, спросить...

— Спросить? У кого?

— Да у начальника...

— И правда, пожалуй...

— Да его теперь, небось, нету...

— Ну, кто-нибудь за него...

— Служба-то и тут такая же будет, — проговорил Кирилл попрежнему угрюмо.

— Не такая же, короткая, сказывали, будет... И разговеться нечем...

— А как совсем пойдешь Христа ради?

И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

— Дни-то, дни-то какие! — со вздохом слабым, задумчивым голосом сказал старик. — А мы, как татаре какие, и в церкви ни разу не были!

— Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка...

Но старик не слышал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумьи:

„Предходят сему лица Ангельстии со всяким началом и властью... лице закрывающе и вопиюще песнь аллилуия...“

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою:

„Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследилши во всех языцех...“

Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений к церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах, с мокрыми, расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от избы к пунькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи... Потом деревня остается пустою и тихою... Над темной чертой горизонта, на фоне заката, видны силуэты идущих и едущих на село... На селе, около церкви, поскрипывают в темноте под'езжающие телеги; церковь освещается... В церкви уже идет чтение,

уже теснота и легкая толкотня, пахнет, восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами... А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся сдержанные голоса...

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь, обнажив головы, до земли поклонились на восток.

— Федор! Вставай! — взволнованно пробормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

За окнами вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым их блеском. Зал третьего класса наполнялся служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глаzetом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшегося народом зала. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон.

„Воскресение твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси...“ — торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечей, загоревшихся во всех руках.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустили на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенного зала, на огни и иконы, поднимая свои худые лица с пепельными губами, свои голодные глаза...

— Воскресни, Боже, суди земли!

## ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую „голову“ печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

— Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике.

— Нет, — ответила Марья, — туман. А собаки валяются, — беспременно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

— Сиротка! Корову-то прогусарили?

— Продали.

— И лошади нету?

— Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память „Когда еще картохи копали“, в сухой, ветреный день, мать

на поле полудневала, плакала и говорила, что ей „кусок в горло не идет“, и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали „анчихристы“. Оба они были похожи друг на дружку — черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бегал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька... Потом „черный“ опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

„Анихристы“, лошадики-мещане, были, и, правда, свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они на перебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

— Ну, — кричал один, — смотри сюда, получай с Богом деньги!

— Не мои они, побереги, полцена брать не приходится, — уклончиво отвечал Корней.

— Да какая же это полцена, ежели к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись Богу!

— Что зря толковать, — рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые, черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу.

— Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: „поскорейча, ехать время, я на выгоне дожду“ — и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не стоит, — сказал он.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

— Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

— Долголетня?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смугился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

— Молись Богу, да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней. — Ты без креста, дядя!

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно. — Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Такие, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо...

— Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, — верь совести...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал таки!



Когда же пришел октябрь, и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, заноса выгон, лазины и завалинку избы,—Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы, для всех ребятешек начались истинные мучения, пристекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по поясу в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как гудит, а с другой стороны—от грозных окриков матери:

— Ты куда? Чичер, холод—а она, накось! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

— Иди, я тебе одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на „группке“ печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фетилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки, наклоненное лицо ее в это время было кротко и ласково. Тихим голосом пела она старинные песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завешанной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой, с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро—и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке, с'ерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальцо и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом также быстро перебежала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шопот матери: „Угодники Божии, святителю Никола милосливый, столп-охранение людей, Матушка Пресвятая Пятница—молите Бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...“

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего и грозила „глаза выколоть“, „слепым в сумку отдать“, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила „хоть капустки“, а спокойный насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать.

— Вот домовой-то,—говорил он серьезно,—все спи, да спи!.. Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде „беда“, полушубков не шьют, больше помирают,—что он только чинит кое-где у богатых мужиков... Правда, в тот раз ели селедки, и даже „вот такой-то кусок“ соленого судака батя принес в тряпочке: „на кстинах, говорит, был третьего дня, вам, ребята, спрятал...“ Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обудся, умылся, помолился Богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в поясице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цыгарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

— Что ж, тетка—сказал он—даром солому-то жжешь, варево не ставишь?

— Что варить-то?—спросила Марья отрывисто.

— Как что? Ай нечего?

— Вот домовой-то...—пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

— Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась.

— Спят,—сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

— Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

— Нечего,—повторил странник.—Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам—и ничего себе... Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом—вот что!

— Не ночевал и ты,—вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели,—с ребятишками с голодными, не слышал, как голосят они во сне с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала, Христом Богом просила,—одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко—в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

— Я вон,—продолжала она, все больше волнуясь,—гоно их каждый день на пруд... „Дай капустки, дай картошек...“ А что я дам? Ну, и гоно: „Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...“

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка („У, погибели на тебя нету!“) и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать во всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась,

закутала голову платком, с'ерзнула с печи и шмыгнула в дверь.

„Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить,—думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг.—Аж к вечеру приду...“

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие „козырьки“, меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снега нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не повеселилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына студента... И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, Егор,—сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

— Чтой-то Бог даст нам на весну в саду: прививоч-

ки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом, — отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Об'едены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, об'ели кое-где.

— Не зайцы об'ели.

Егор робко оглянулся:

— А кто ж?

— Я об'ел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

— Я об'ел, — повторил Павел Антоныч и, помолчав, пояснил:

— Кабы я тебе, дураку, приказал их, как следует, закусать и замазать, так были бы целы... Значит, я об'ел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

— Чего оскалешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

— А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антоныч.

— Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

— На тебе два, дай мне один. А кнут — он, брат, ременный — вернись, найди.

— Да он, может... около городу.

— Тем лучше. В городе купишь. Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме.

Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке

сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в стороне и, засунув в рот посиневшую ручку, грела ее. Павел Антоныч остановился.

— Ты чья? — спросил он.

— Корнеева, — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

— Постой, постой, — закричал Павел Антоныч, — я отца видел, гостинчика привез от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием „прокатить“ Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем, было, ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях.левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплее и теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее...

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настороживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом. Танька сперва не брала: „он



черниций, нуко-сь умрешь“, дал ей несколько кусков сахара. Танька спрятала и думала:

— Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам.

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, встацила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей; но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре, и пошел тихий звук.

— Опять?— сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такую добротой, такую старчески-детскою радостью.

— погоди,— шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл „Качучу“, потом „Марш на бегство Наполеона“ и перешел на „Зореньку“:

Заря ль моя, зоренька,  
Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодою деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-зарю  
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватил струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек,—и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опущенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые—звезды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...

## КАСТРЮК

### I

Внезапно выскочив из-за крайней избы, с полевой дороги, во всю прыть маленьких лошадок летели по деревенской улице барчуки из Залесного. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались вперегонки, и ветер пузырями надувал на их спинах ситцевые рубашки. Теленок шарахнулся от них в сенцы, куры и впереди них петух, приседая к земле, неслись, куда глаза глядят. Но отчаяннее всех улепетывала по деревенской улице маленькая белоголовая девочка в одной рубашонке. Обезумев от страха, она вскочила на огороды, несколько раз с размаху упала по дороге и вдруг увидала в воротах риги дедушку. С звонким криком бросилась она в его колени.

— Что ты, что ты, дурочка?—закричал и дед, ловя ее за рубашку.

— Барчуки... на жеребцах! — захлебываясь от слез, едва могла выговорить внучка.

Дед усадил ее на колени, начал уговаривать.

Внучка скоро затихла и, изредка всхлипывая, обиженным, вздрагивающим голосом начала рассказывать, как было дело.

Поглаживая ее по голове, дед задумчиво улыбался.

В риге было прохладно и уютно. В мягкую темноту ее из глубины ясного весеннего неба влетали ласточки и с чиликаньем садились на переметы, на сани, сложенные в угол риги. Все было ясно и мирно кругом—и на деревне, и в далеких зазеленевших полях. Утреннее солнце

мягко пригрело землю, и по-весеннему дрожал вдали тонкий пар над ней. Там, в полях, подымалась пашня, блестящие черные грачи перелетали около сох. Здесь, на деревне, в холодке от изб, только девочки тоненькими голосами напевали песни, сидя на траве за коклюшками. Кроме ребятишек и стариков, все были в поле — даже все Орелки, Буянки и Шарики.

Дед сегодня первый раз за всю жизнь остался дома на стариковском положении. Старуха померла мясоедом. Сам он пролежал всю раннюю весну и не видал, как деревня уехала на первые полевые работы. К концу Фоминой он стал выходить, но еще и теперь не поправился, как следует. И вот, всеми обстоятельствами деревенской жизни, вынужден он провдить самое дорогое для работы утро дома!

— Ну, Кастрюк (деда все так звали на деревне, потому что, выпивши, он любил петь про Кастрюка старинные веселые прибаутки),—ну, Кастрюк,—говорил ему на заре сын, выравнивая гужи на сохе, между тем, как его баба зашпидивала веретье на возу с картошками,—не тужи тут, поглядывай обапол дому да за Дашкой-то... Кабы ее телушка не забрухала...

Дед, без шапки, засунув руки в рукава полушубка, стоял около него.

— Кому Кастрюк—тебе дяденька,—говорил он с рассеянной улыбкой.

Сын, не слушая, затягивал зубами веревку и продолжал деловым тоном:

— Твое дело, брат, теперь стариковское. Да и горевать-то, почесть, не по чем: оно только с виду сладко хрип то гнуть.

— Да уж чего лучше! —отвечал дед машинально.

Когда сын уехал, он сходил зачем-то в пуньку, потом передвинул в тень водовозку—все искал себе дела. То он бережливо, согнув старую спину, сметал муку в закрое, то там и сям тюкал топором... В риге он сел и пристально чистил трубку медной капаушкой. Иногда ворчал:

— Долго ли пролежал,—глядь, уж везде беспорядок. А умри—и все прахом пойдет!

Иногда старался подбодрить себя. „Небось“!—говорил он кому-то с задором и значительно; иногда подергивал плечами и с ожесточением выговаривал:— „Был конь, да уездили“... Но чаще опускал голову.

Закипели в колодезях воды,  
Заболело во молодце сердце—

напевал он, и ему вспоминалось прежнее, мысли тянулись к тому времени, когда он был хозяином, работником, молодым и выносливым... Глядя внучку по голове, он с любовью перебирал в памяти, что в такой-то год, в эту пору он сеял, и с кем выходил в поле, и какая была у него тогда кобыла.

Внучка шопотом предложила пойти наломать веничков, про которые мать уже давно толковала. Дед легкомысленно забыл про пустую избу и, взяв за руку внучку, повел ее за деревню. Идя по мягкой, давно неезженной полевой дороге, они незаметно отошли от деревни с версту и принялись ломать полынь.

Вдруг Дашка встрепенулась.

— Дедушка,—глянь-ка!—заговорила она быстро и нараспев,—глянь-ка! Ах, ма-а-тушки!

Дед глянул и увидел бегущий в дали поезд. Он торопливо подхватил внучку на руки и вынес ее на бугорок, а она тянулась у него с рук и радостно твердила:

— Дедушка! Рысью, рысью!

Поезд разрастался и под уклон работал все быстрее, весь блестя на солнце. Долго и напряженно глядела Дашка на бегущие вагоны.

— Должно, к завтраму приедет,—сказала она в раздумьи.

Блестя трубой, цилиндрами, мелькающим поршнем, колесами, поезд тяжелым взмахом урагана пронесся мимо, завернул и, мелькнув задним вагоном, стал сокращаться и пропадать вдаль... Жаворонки пели в теплом воздухе... Весело и важно кагакали грачи... Цвели цветы в траве около линии... Спутанный меренок, пофыркивая, щипал

подорожник, и дед чувствовал, как даже мерину хорошо и привольно на весеннем корму, в ясное утро.

— Здорово, сударушка,—закричал он, завидев идущего по рельсам сторожа солдата. — „Здравия желаем, ваше благородие!“—прибавил он, чтобы подделаться к солдату и поболтать немного.

— Здравствуй,—сказал солдат сухо, не вынимая изо рта трубки.

— Иди, сударушка, покурим,—продолжал дед,—поговорь с Кастрюком. Я, брат, ноне тоже замест часового приставлен.

— Я путь должен обревизовать к прибытию второго номера,—ответил сторож и, наклонившись, тукнул молотком по рельсе и пошел дальше.

Дед застенчиво улыбнулся и крикнул солдату вдогонку:

— А то погодил бы!

Солдат не обернулся.

По дороге назад дед поболтал с пастухами и полюбывался на стадо.

— Дюже хороши ноне корма будут!—сказал он.

— Хороши,—ответил подпасок и вдруг с криком: назад, смёртные!—бросился за свиньями.

Стадо привольно разбрелось по паре. Жеманно, на разные лады, тонкими голосами перекликались ягнята. Один, упав на колени, засовал мордочкой под пах матери и так торопливо, дрожа хвостиком и подталкивая ее, стал сосать, что дед засмеялся от удовольствия...

## II

Поспешно подходя к своей избе, он увидел, что по выгону, прямо к ней, едет молодой барин из Залесного, и бросился отгонять под гору соседскую кобылу: вороной жеребец весь заиграл и залясал, выгибая шею.

Сдерживая его и сгибая своей тяжестью дрожки, барин в'ехал в тень избы и остановился. Дед почтительно стал у порога.



— Здравствуй, Кастрюк, — сказал барин ласково и, отирая красное лицо с рыжей бородой, достал папиросы.

— Жарко! — прибавил он и протянул папироску к деду.

— Непривычны, Миколай Петрович, — захихикал тот. — Трубочку вот, а то шкалик-другой красенького — это мы, старики, любим!

— А я было к вам по дельцу, — начал Николай Петрович, отдуваясь. — Ездил повещать на Можаровку... надевай шапку-то, Семен!.. да вот, кстати, и к вам. Девоч своих не пошлете ли ко мне?

— Аль еще не сажали? — спросил дед участливо.

— Запоздали нынче... не я один.

— Запоздали, Миколай Петрович, запоздали...

— Я... — продолжал барин и вдруг так зычно гаркнул: „балуи“, что дед со всех ног бросился держать жеребца.

— Немножко-то посадил, — опять начал барин, — а пора и совсем управиться. Девченок-то своих и турили бы ко мне.

— Разя один совладаешь, Миколай Петрович?

— Да ты скажи своим-то.

— Солдатка-то дома, что ль? — спросил дед деловым тоном у подошедшей старухи и засмеялся.

— Кабы солдатка была, она бы сбила, — сказал он, как бы оправдываясь. — А я, сударушка, дома ноне сижу... Мне и отойтить нельзя... Кабы прежнее мое дело, покоситься там али под паринку, — я бы единым духом.

— Жалко, — сказал барин задумчиво. — Видно, вечером заверну, — и взялся за вожжи.

Чтобы как-нибудь задержать его, дед вдруг сказал:

— Ты, сударушка, нанял бы меня в работники...

— Что ж, нанимайся, — сказал барин, рассеянно улыбаясь.

— А когда заступать?

Барин пристально поглядел на него и качнул головою.

— Заступать когда? Эка ты шустрый какой!

— Я-то, сударушка? Да я их всех, молоденьких-то,

за пояс заткну! Я еще жениться хочу! Да на свадьбе еще плясать буду!

— Да уж ты! — перебил барин, усмехаясь, ударил вожжей жеребца и покатил по выгону.

Дед постоял, подумал...

Все говорило ему, что он теперь отживший человек. Так только, для дому нужен, пока еще ноги ходят... „Ишь покатил!“ подумал он с сердцем, глядя вслед убегающим дрожкам, и пошел вынимать из печки похлебку.

Пообедав, внучка с ребятишками ушла в лужок за баранчиками. Все они так жалобно просились пустить их, что дед не мог устоять. Только сказал:

— Не найдете, ребята, разве сытку только...

В избе дед от нечего делать снова принялся за еду. Он натер себе картошек, налил в них немного молока (боялся, что и за это сноха будет ругаться) и долго ел месиво.

В пустой избе стоял горячий, спертый воздух. Солнце сквозь маленькие, склеенные из кусочков, мутные стекла било жаркими лучами на покоробленную доску стола, которую, вместе с крошками хлеба и большой ложкой, черным роем облепили мухи.

Вдруг дед с радостью вспомнил, что есть еще дело — достать из-под крыши пачку листовой махорки, раскрошить ее и набить трубку. Влезая в сенцах по каменной стене под застреху, он едва не сорвался — голова у него закружилась, в спине заломило... Он опять с горечью подумал о своей старости и, уже лениво дотащившись до порога избы, на который еще падала тень, медленно занялся делом.

В полдень деревня вся точно вымерла. Тишина весеннего знойного дня очаровала ее.

Старухи-соседки долго „искались“ под старой лозиной на выгоне, потом легли, накрыли головы занавесками и заснули. Самые маленькие ребятишки хлопотливо лепили из глины ульи, собравшись в размытом спуске около пруда. Изредка мычал теленок, привязанный за кол около спящих баб. Изредка доносился крик петуха и наго-

нял на деревню тихую дрему. А в полях попрежнему заливались жаворонки, зеленели всходы и по горизонтам, как расплавленное стекло, дрожал и струился пар.

Дед лег около пуньки, стараясь заснуть. Для этого он старался представить себе, как шумит лес, как ходит волнами рожь на буграх по ветру и шуршит, переливается, и слегка покачивался сам. Но сон не приходил.

Лежа с закрытыми глазами, дед все думал о своей старости.

Теперь, небось, Андрей крепко спит под телегою. Деду же, может быть, до самой смерти не придется больше заснуть в поле. В рабочую пору он будет проводить долгие знойные дни наедине с внучкою... А ведь было время—лучше его не косил никто во всей округе. Бывало, когда всей деревней косили у барина, он всех вел за собою. Да никто не мог и выпить больше его, когда, вернувшись гурьбой с поля на господский двор, мужики усаживались около амбара за ведром водки и начиналась „Веселая беседа“.

Никогда, однако, не пропивал он ума-разума. Все у него было всегда в порядке: и изба каждую осень крылась новой соломой, и кобыла была всегда в теле („печка!—говорили мужики,—хоть спать ложись на спине!“), и свадьбу сына он справил всем на удивление. Вся деревня собралась смотреть, когда на первый, после княжего пира, престольный праздник Андрей поехал к тестю. Рядом со своей разряженной бабой сел он в новые „козырьки“, покрытые цветной попоной, выставил за грядку одну ногу в валенке и покотил по выгону... Дед надеялся тогда, что под старость будет у него первая во всей деревне семья, что никому не позволит он ссориться, заводить дележи...

— Пирог ситный в обмочку, думал, буду есть, — про- бормотал он.

Ан все вышло не по-гаданному.

Младший сын отделился, а старший, хотя и остался с ним, да немного вышло проку... Главное же — старуха всех подрезала. Умерла в самое плохое, голодное время.

Да ослабели и его ноженьки, и придется ему теперь до смерти сидеть с ребятишками, в роде караульщика.

— Ишь, ровесник-то мой,—подумал он с озлоблением,—Салтан-то — и то убер со двора!

И чего он, дед, маялся на свете и на что надеялся— Бог его знает!

— Ни почету не дождался,—думал дед, вспоминая сына, посадившего его караульщиком, — ни богатства—ничего! И помрешь вот-вот и ни один кобель по тебе не взвоят!

### III

Долог этот день показался ему.

Дашка воротилась из лужка и присоединилась к ребятам, игравшим в спуске.

— Ай уж и мне пойтить к ним свистульки лепить? — думал дед с горькой улыбкой — и наконец не выдержал.

— Посмотри, сударушка, за избой, — сказал он старухе-соседке, которая около пуньки медленно скатывала холсты.

— Ай соскучился? — спросила та жалобно.

— Соскучился, сударушка! И как только это вы, бабы, дома сидите?

— А ты на-долго, небось?

— Нет, я сейчас, в одну минутую...

До заката было еще далеко. Но Андрей должен был, по расчетам деда, управиться раньше вечера. Он поглядывал на солнце и решал, что осминник надо досадить именно к этой поре.

На выгоне он встретил возвращавшегося с поля Глеб- бочку. Глебочка, высокий, худощавый мужик с веснуш- ками на бледном лице и с опухшими красными веками, в старом полушубке, из лохматых дыр которого виднелась белая рубаха, покачивался, сидя боком на спине лошади; перевернутая соха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвои.

— Ай, сударушка, рассохи-то пропил? — пошутил дед.

— Пропил, — с бледной улыбкой ответил Глебочка.

— А мои скоро?

— Должно, едут.

— Где же девки-то твои?

— Девти идут, — ответил Глебочка картаво.

На валу, под молодыми лозинками, дед сел и, щурясь от низкого солнца, глядел в даль, по дороге.

Тишина кроткого весеннего вечера стояла в поле. На востоке чуть вырисовывалась гряда неподвижных нежно-розовых облаков. К закату собирались длинные перистые ткани тучек... Когда же солнце слегка задернулось одной из них, в поле, над широкой равниной, влажно зеленеющей всходами и пестреющей паром, тонко, нежно засиял воздух. Безмятежнее и еще слаще, чем днем, заливались жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветающими травами, медовой пылью желтого донника... Дед закрывал глаза, прислушивался, убаюкиваясь.

— Эх, кабы теперь дождичка, — думал он, — то-то бы ржи-то поднялись! Да нет, опять солнышко чисто садится.

Вспоминая, что и завтра предстоит ему стариковский день, он морщился, придумывал, как бы избавиться от него. Он досадливо качал головою, скреб спину, облеченную в длинную стариковскую рубаху... и наконец пришел к счастливой мысли!

— Ну, прикончил? — говорил он через полчаса заискивающим тоном, шагая рядом с сыном и держась за оглоблю сохи.

— Кончить-то кончил, — отвечал Андрей ласково, — а ты-то как? Небось, соскучился?

— И-и, не приведи Бог! — воскликнул дед ото всего сердца. — Сослужил, брат, службу... не хуже какого-нибудь солдата старого на капусте!

И смеясь, желая не придавать своим словам просящего выражения, попросился в ночное.

— С ребятами... а? — сказал он, заглядывая сыну в глаза.

— Что ж, веди! — ответил Андрей. — Только не забудь на полях кобылу напоить.

Дед закашлялся, чтобы скрыть свою радость.

IV

На закате, после ужина, положил он на спину кобылы зипун и полушубок, взвалился на нее животом и рысцой тронул за ребятами.

— Эй, погоди старика, — кричал он им.

Ребята не слушали. Старостин сынишка обскакал его, растарачив босые ножки на спине кругленького и екающего селезенкой мерина. Легкая пыль стлалась по дороге. Топот небольшого табуна сливался с веселыми криками и смехом.

— Дед, — кричали некоторые тоненькими голосками, — давай на обгонки!

Дед легонько поталкивал лаптями под брюхо кобылы.

В лощинке, за версту от деревни, он завернул на пруд.

Отставив увязшую в тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, кобыла долго-долго однообразно сосала воду, и видно было, как вода волнисто шла по ее горлу. Перед концом питья она оторвалась на время от воды, подняла голову и медленно, тупо огляделась кругом. Дед ласково посвистал ей. Теплая вода капала с губ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег, и вечернее небо, и белые полоски облаков. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались в одну от тихо раскатывающегося все шире и шире круга по воде... Потом кобыла сделала еще несколько глотков, глубоко вздохнула и, с чмоканьем вытащив из тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берег и словно проснулась, ожила.

Позвякивая полоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнеющей дороге. От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни и теперь выздоровел. Он весело покрикивал на кобылу, вдыхал полной грудью свежающий вечерний воздух.



„Не забыть бы подкову оторвать“, думал он.

В поле ребята курили донник, спорили, кому в какой черед дежурить.

— Будя, ребята, спорить-то,—сказал дед. — Карауль пока ты, Васька,—ведь, правда, твой черед-то. А вы, ребята, ложитесь. Только смотри, не ложись головой на межу—домовой отдавит!

А когда лошади спокойно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят, смех над коростелью, которая оттого так скрипит, что дерет ногу об ногу, дед постлал себе у межи полушубок, зипун и с чистым сердцем, с благоговением стал на колени и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий млечный путь—святую дорогу ко граду Иерусалиму.

Наконец, и он лег.

Темнота разливалась над безбрежной равниной. В свежести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночным мраком, слабо, как одинокая мечта, на слабом фоне заката маячил силуэт далекой-далекой мельницы...

## ВЕЛГА

Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим взволнованным морем?

В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь,—точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря,—глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки... Видишь, как беспринутно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях?—Это к непогоде.

День с самого утра хмурился. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и побережьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки.

— Кри-э.— жалобно и пронзительно звучит по ветру.

Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собой гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось с шипением на камни и широко взлизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел

берег от прибоя... Чайка с криком бросалась между волнами, плавно соскальзывая вниз по воде в их ухабы, выносила на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем.

Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море... Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенания?

Вон она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная, бурная ночь; чаще и чаще то там, то здесь мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.

— Кри-э—доносится откуда-то издалека, снизу...

Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.

I

Было это давно, в незапамятное время.

У холодного северного моря жила молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток—песчаный берег, близко за селением сходящийся с небом. Что было там, к востоку,—Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггар. Они знали только море.

Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море, Велга искала яички зуйков и плавунчиков, или бегала к прибюю, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее... Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.

Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться на шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:

— Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму.

Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю,

— Смотри, смотри! гагара!—закричал он ей.

И они, как ветер, гнались друг за другом, убежали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь, и с журчанием, струями сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним...

Зачем так быстро прошло детство Велги?

Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду—шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!

— Милый Ирвальд,—говорила она ему,—мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!

Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.

— Милый Ирвальд,—говорила она ему,—зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?

И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее становилось сурово и гордо.

II

Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбацкого селения, на каменистом побережье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога.

Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Велги бормотала заклятие и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящею серою пеной и опутывала мокрыми, бледно-зелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели в даль. Но только птицы святого Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распутив крылышки, на самые высокие гребни взметывающихся и рассыпающихся водяных бугров.

Девушки стали называть Велгу печальнойю и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не цела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Велга печальнойю и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.

Ирвальд давно был на море. Утомилась Велга ходить по побережью и следить за волнами; хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ждать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггар, если Велга не может жить без него.

А когда подул теплый ветер с заката и стало опу-

скаться к морю солнце, Велга пришла к сестре и сказала ей:

— Милая Снеггар, хочешь, я расскажу тебе, как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?

— Не хочу, — отвечала Снеггар, празднично и спокойно сидя у порога.

Велга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки.

Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, смущенно расспрашивая его, куда он ездил, а когда стал подниматься над морем большой, бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром.

— Ирвальд, — сказала она, — я ждала тебя, и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но, когда ты приехал, так легко стало мне!

А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо:

— Ты слышал мои слова, Ирвальд?

— Да, — сказал Ирвальд.

И тогда совсем низко наклонила Велга голову и проговорила:

— Возьми меня в свой дом, Ирвальд! Я буду ходить с тобой в море, буду петь тебе песни и работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой.

— Мы никогда не будем жить с тобой, — твердо ответил ей Ирвальд. — Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снеггар. Вместе проведем мы зиму, а летом опять уплывем, как две гагары.

— А я? — медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце. — Я останусь одна? — громко сказала Велга.

— Да, — ответил Ирвальд.

Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро по-



шла по берегу. И, когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, упала на камень.

### III

Слышишь, как дико завывает ветер во мраке? Неприветливо северное море!

Осень наступила на утро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу холодным ветром, вскочила она и бросилась в воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег.

— Море не хочет, чтобы я умерла, — сказала себе Велга. — Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце.

— Снеггар, — сказала она сестре, — уехал Ирвальд?

— Да, — отвечала Снеггар.

— Когда вернется он? — спросила Велга.

— Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море, — отвечала Снеггар.

Тогда Велга села рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за дверь, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый мокрый снег.

„Скоро вернется Ирвальд, — думала Велга, и сладостная горечь обиды и злобы томительно вливались в ее сердце. — Я убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле“.

Но Ирвальд не возвращался. Уж надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься с порога и, стоя, напряженно глядеть в море. И в сумерках из хижины вышел старый отец Велги. Ветер развеивал его длинные седые волосы.

— Велга, дитя мое, — сказал он ласково, — отчего ты покинула родной дом? Вот, поднимается зловещая ночная буря, перед которой неутешно тоскует сердце человека. Помоги мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроюсь под кровлю от непогоды и ночи.

От нежных слов дрогнуло сердце Велги жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяною пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю.

Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама послала ему постель и поцеловала его, по обычаю гостеприимства, перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше овладели ее сердце жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха и, обессиленная, забывалась сном лишь под утро.

Море же стало стихать; в воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снеггар.

— Велга! — сказала она. — Буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц.

— Кто сказал тебе? — крикнула Велга.

— Я была у вещей Чарны, и она гадала мне на кишках гагары, — отвечала Снеггар и, закрыв лицо руками, стала плакать.

— Снеггар... — нежно хотела проговорить Велга.

Но брови ее сурово сдвинулись, и она сильной рукою распахнула дверь дома.

IV

Она быстро пошла по побережью на север. В холодный, темный вечер вступила она в хижину Чарны, теплую от костра, пылающего красным пламенем.

— Научи меня, о, вещая!—воскликнула она перед Чарной.—Укажи путь к Ирвальду!

— Поспеш!—сказала Чарна.—Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Но поспеешь к рассвету третьего дня,—он погибнет. Но скажи мне, Велга, слыхала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?

Как пойманная рыба, затрепетало сердце Велги.

— Пожалей меня, Чарна!—отвечала она.—Горько мне расстаться с жизнью. Но если так надо, скажи: что будет со мной?

— Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря,—сказала Чарна.—А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, оборотишься в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла.

Как первый снег, побледнела Велга, но глаза сверкнули радостью и она отвечала Чарне:

— Я иду, Чарна.

— Поспеш!—сказала Чарна.

Против ветра, по морскому песку побережья побежала Велга к шумящему, темному морю. Хотелось ей крикнуть „прости“ сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Велга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развеивал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с Ледяного моря.

V

На рассвете увидела она себя окруженной бледным холодным морем, у песчаного пустынного острова. Ни-

кого не было на том острове. Только вода взбегала на его песок и белела пеной. „Водяные пастушки“ на высоких и тонких ногах бегали у прибоя и искали среди раковин пищи. Но и „водяных пастушков“ было мало: на зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры. И еще нежнее загрузило сердце Велги.

А Ледяное море уже начиналось. Целый день плыла Велга, и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и сливаются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикие северные птицы живут в тех морях, вдали от людей, на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом; они всю зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах под утесами. И в сумерках проплыла Велга мимо самого большого острова.

Он весь, сверху до низу, был покрыт, как серой корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими, грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки, и Велга, обессиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга. И как снег, побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку.

Ледяной туман окутывал ее мглой, плывя оттуда, где море сливается с небом. Но уже не грустила Велга. Она трепетала от скорби перед гибелью и от радости за Ирвальда.

И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибора, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок.

— Ирвальд! — крикнула Велга звонко.

От ее голоса мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крылатою белою чайкой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, — голос друга коснулся его сердца, — но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой...

Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдаль, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и доныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | <i>Стр.</i> |
|--|-------------|
| Сон Обломова-внука (1903 г.) . . . . . | 3           |
| Антоновские яблоки (1900 г.) . . . . . | 9           |
| Руда (1900 г.) . . . . .               | 26          |
| Весна (1912 г.) . . . . .              | 31          |
| Скит (1901 г.) . . . . .               | 38          |
| Сверчок (1911 г.) . . . . .            | 46          |
| На край света (1894 г.) . . . . .      | 58          |
| На чужой стороне (1893 г.) . . . . .   | 65          |
| Танька (1892 г.) . . . . .             | 71          |
| Кастрюк (1892 г.) . . . . .            | 82          |
| Велга (1895 г.) . . . . .              | 93          |



## НАРОДНО-ШКОЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ:

- Ив. Бунин. Избранные рассказы изд. 2-е. Ц. 2 р. 50 к.  
Гюи-де-Мопассан. Избр. рассказы. Ц. 1 р. 50 к.  
А. Додэ. Джэк. Печатается 2-е изд.  
С. Елпатьевский. Гектор изд. 2-е.  
Борис Зайцев. Волки. Ц. 1 р. 50 к.  
Н. Златовратский. Избранные рассказы. Изд. 4-е. Ц. 4 р.  
Короленко. Судный день. 1 р. 25 к.  
Г. Сенкевич. Избранные рассказы. 2-е изд. Ц. 2 р. 25 к.  
А. Серафимович. Морской волк и др. рассказы.  
Изд. 2-е Ц. 1 р. 50 к.  
— Воробьиная ночь. Рассказы. Ц. 1 50 к.  
И. З. Суриков. Избранные стихотворения. Изд. 2-е.  
Ц. 1 р. 50 к.  
Н. Телешов. Верный друг. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к.  
Ив. Шмелев. Рваный барин. Ц. 1 р. 50 к.  
Его же. На морском берегу. Ц. 1 р. 50 к.  
Златовратский. Как это было. Ц. 1 р. 50 к.  
Н. Тимковский. Праздничные рассказы. Ц. 1 р. 50 к.  
Ив. Шмелев. Догоним солнце. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 50 к.  
Дорогие места. Сборн. статей с иллюстр.  
Ред. Ив. Белоусова. Ц. 2 р. 50 к.  
Элиза Ожешко. Добрая пани. Рассказы. Ц. 1 р. 50 к.  
Мария Конопницкая. Избранные стихотворения.  
Печатается.  
А Серафимович. Упырь. Рассказы. Ц. 2 р. 50 к.  
Ив. Шмелев. В новую жизнь. Повесть. Ц. 3 р.  
— Они и мы. Разасск. Печатается.  
— Служители правды. Изд. 2-е. Ц. 3 р.  
В. Вересаев. Порыв. Рассказы. Ц. 1 р. 75 к.  
М. Горький. Дружки. Рассказы. Ц. 2 р. 50 к.  
И. Данилин. Добышник. Рассказы. Ц. 1 р. 35 к.  
Р. Киплинг. „Избранные рассказы“. Ц. 3 р.  
Короленко. В дурном обществе. Ц. 2 р. 25 к.  
“ Ат-Даван. Ц. 1 р. 75 к.  
“ Соколинец. Ц. 1 р. 75 к.

30/5/44